



**РУССКИЙ
ПУТЬ
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ**

Издается
с 2003 года

Зарегистрирован
Министерством
Российской Федерации
по делам печати,
телерадиовещания
и средств массовых
коммуникаций.
Свидетельство
о регистрации
ПИ № 77-17964
от 8 апреля 2004 г.

**Литературно-художественный,
общественно-политический
и научно-популярный
журнал современных писателей
Центральной России**

№ 2 (7)/2005

Главный редактор

Тираж бумажной версии 800 экземпляров.

**Учредитель и издатель:
общество с ограниченной ответственностью
«Редакция газеты «Губернские вести».**

**Журнал выходит в свет 4 раза в год
и поступает во все областные
и центральные районные библиотеки
9 регионов Центральной России —
Ярославской, Костромской, Ивановской,
Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской,
Смоленской и Тверской областей.**

**Адрес редакции: 150000, г. Ярославль,
ул. Революционная, 28, 1-й этаж.
Телефоны редакции:
(0852) 72-74-52 (гл. редактор), 25-99-60
(отдел подготовки рукописей, после 18.00).**

**Редакция не вступает в переписку
с читателями, не рецензирует
и не возвращает присланные рукописи.
При перепечатке ссылка
на «Русский путь на рубеже веков»
обязательна.**

**© ООО «Редакция газеты
«Губернские вести», 2005.**

**Евгений ЧЕКАНОВ,
член Союза писателей России**

**Редакционная
коллегия:**

**Николай СМИРНОВ,
член Союза российских писателей;**

**Тамара ПИРОГОВА,
член Союза писателей России;**

**Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО,
кандидат исторических наук.**

Ярославль

ПРОЗА

Николай Смирнов



Тритон

Повесть

*Твой-то сын давно расстрелян,
Он расстрелян у стены.
Когда приговор читали,
Знают звездочки одни.*

Народная песня.

1

Зимой, часа в три по здешнему времени, сопки, оцепляющие долину, такие близкие и привычные для глаза, начинали вдруг сереть, размываться, и вот — точно их бульдозером срезали. И край наостренной, большой луны вытаивал, как виделось мне, прямо из того места во тьме, где было кладбище у северной, лесистой сопки. И казалась, что луна — не с той, а с этой, твоей стороны сопки, и с каждой минутой она становилась все больше и ближе. Голое, мутно-серое пространство долины становилось зримым, угадывались высокие, желтые кочки, прутьики карликовых березок, торчавших из-под жесткого, просушенного морозом снега.

Первым строением, в которое лунный луч упирался, был приземистый барак общежития горняков, оштукатуренный и побеленный, глина по стенкам во многих местах отвалилась. Дальше строения стояли тесно и были поменьше, и почти каждое из них не было похоже на другое. Но эта непохожесть не разнообразила, не радовала, а наоборот, удручала. И к сарайкам, и к стенам домов чего-чего только было не попритыкано. И бревна, и гнилушки-доски, и просто колья или свал свежих ящиков из-под консервов. Большинство домов было оштукатурено и побелено, как первое, барачное строение, но оформлялся каждый дом опять же вразнобив. Этот был огорожен высоким дощатым забором, тот — редкими столбиками с колючей проволокой по лагерной привычке. У этого свисал низко толевый козырек над входом, у того тянулась пристройка, рубленая из бревен, которую называли тамбуром. Были дома длинные, казенные, с островерхими

Николай Васильевич Смирнов родился в 1950 году в деревне Коровино Мышкинского района Ярославской области. До 1962 года семья жила на Колыме, в Верхоянском районе Якутской АССР, где работал, после отбывания срока по 58-й статье, отец.

В 1975 году закончил Литературный институт имени Горького. Работал научным сотрудником в музее Н.А.Некрасова «Карабиха», в настоящее время - журналист, сотрудник областной газеты.

Стихи и прозу пишет с детства. Поэтические подборки публиковались в коллективных сборниках, журналах «Юность», «Волга». Автор трех книг стихотворений - «Кладбищенская земляника», «Невеста в темном», «Световое оконышко». Лауреат областной премии им. Трефолева. Член Союза российских писателей с 1993 года.

Живет в г. Мышкине Ярославской области.

© Журнальный вариант. Николай Смирнов, 2005.

железными крышами, как контора, а рядом — с крышами разлапистыми, низенькими, крытыми дранкой.

Уже закрывались дощатые ставни, обитые по той стороне, что к стеклам, войлоком с мешковиной, обхватывались запорами, откованными из ломиков. И тысячи низких, колких звезд обозначились в небе. Остренько следили они, как жизнь готовилась отойти в сон: где крестилась по деревенской, еще не забытой привычке, где выпивала стаканчик, а где шлепала тузом по улитому бражкой столу, мямила гладко обкатанные людским веком матерные слова. И, наверное, только эти звезды, которые от мороза становились все злей и пристальней, понимали скрытую суть железных завалов — ржавых труб, распущенных тракторных гусениц, электромоторов, трансформаторов, колес, катушек тросов, что громоздились и под открытым небом, в снегах, и под ветхими навесами. Только они знали, сколько еще здесь, в омертвелом, не рожавшем хлеб земляном лоне спрятано золота. Может, и весь прииск был вкайлен, втян кострами в вечную мерзлоту для тайной и злой их воли? Работа за вымерзшей протокой сладострастно не унималась и ночью: вниз-вверх сновала железная клеть-скип по стволу шахты, выцапывая, вагонетку за вагонеткой, выработанный грунт.

Из всех людей, которые жили здесь, лишь детям не было дела до скопища ржавых машин и золота, что добывали их отцы — все видимое служило только их, детским, не менее тайным, чем у звезд, целям. Хоть и уши шапок были крепко притянуты вязками к щекам, и штаны было по трое понавдевано — не выдержала ребятня мороза, потянулась от ледяной горки по домам. Но по пути якут Юрка увидал, что на дровоскладе, в тесной, как ящик, каптерке, свет горит. И зашли все туда, погреться.

И вот перед ними за столиком — Васька Нос: человек в серенькой, поношенной спецовке. Поседевшие космочки волос лезут из-под шапки, одно ухо которой отвернуто торчком вверх, другое — тесемочкой до плеча свисает. Из-за поклопого, сильно увеличенного носа глазки маленькие поблескивают хитро, будто желают сквозь перегородку эту друг на друга глянуть — замутненные, слабоватенькие, как бы крепко припугнутые некогда глазки... а, может, это они от спирта, грамм сорок которого держит Васька над дощатым столиком в железной кружке? Мизинец откопятился и остро торчит:

— Вот, ребята, на кого мой палец негнувшийся указывает — тому скоро и смерть!

Давно это было, но и сейчас неприятно вспоминать, что прямо на меня палец указывал.

— Врешь, — говорю я, — ну ты и врешь!

— Ха-ха-ха! — говорит Нос. — Значит, ты смелый? Ну, давай выпей со мной пять грамм...

И ставит кружку со спиртом на горячую печку-временку. Говорят, теплый спирт крепче бьет.

— А чего же у тебя палец не гнется?

— А это я, ребята, Зимний брал... Ну чего, выпьем?

— Зимний брал? Вот это да! Расскажи!

— Чего рассказывать? Бежим, стреляем, я матросом был. Видели, наверно, в кино...

— А с какого же ты года? — говорю я.

— С седьмого, — говорит Нос просто.

— Ага! Значит, когда ты Зимний брал, тебе только десять лет, как и мне, было. А с десяти лет в матросы не берут!

— Да, не берут, — говорит Нос и смеется довольнехонько, как будто радуется, что обман его раскрылся. И повторяет, будто ему больше и сказать нечего:

— Ну, что, ребята, неразведенный... кто смелый?

Не принял никто из нас те пять граммов, испугались неразведенного. Но с тех пор стал я узнавать про Ваську Носа. Сначала мне многое казалось непонятным. Да и теперь не все ясно... Только из-за каждого камешка обшарпанного, из-за каждой моховинки ягельной, из-за каждой кочечки той долины — сияет мне свет непритворный, словно чьи-то ясные очи смотрят в душу мою: пиши, пиши о нас! — просят — мы ведь все о нем знаем. Да не о нем слова! Ты пиши — и поймешь, о ком!

Все там было как бы заново родившимся и не имело прошлого. Или оно напрочь было отрублено? И Васька Нос — будто самозародился там, сгустился, как валун в распадке, из серого цвета каменистых осыпей, галечников, серых старых столбов лагерных ограждений. Не поминал никогда он про родителей, точно их у него и не было. Весь был оттуда — из нависей скальных пород, мхов, ягелей, тусклых кварцевых песков. И на прииске жил только зимой, а летом — там, на подошве ближней сопки, в караулке для стрелков, или в дорожной избушке на речке Катюше, где можно было повстречаться и с медведем.

— А почему его зовут Васькой Носом? — спросил я у отца.

— Почему? — отец, пиливший доску на козлах, усмехнулся сам себе, помолчал, и в душе у меня осветилось пространство, чтобы принять рассказ. Но он, продлив усмешку, ответил неожиданно: — Да просто так, зовут Васькой Носом, и все!.. Нос у него большой... — И пространство, раскрытое во мне, так и осталось пустым, скучным, отозвалось своим внутренним светом лишь отцовской усмешке.

— А почему у него тогда палец не гнется? — не отставал я от отца, пилившего доски у сарайки.

— Стрелки в побеге из автомата перебили. Или в драке ножом сухожилие перерезали, — деловито отвечал отец.

Я рассказал ему, что палец Васьки Носа наводит смерть. Отец засмеялся и принялся громко пилить. Его объяснение было обиденным и скучным, осело серым пеплом в памяти и мало поколебало мое ощущение, что Васька Нос все же как -то связан с умением наводить смерть.

Я ушел за наш дом, на грядки галечника, здесь обрывался прииск, дальше шло кочковатое болото, за ним остатки лагерных бараков, столбы. Посмотрел на болото, на сопки. Поднял серый кругляш, стал всматриваться в его исклеванное оспой слюдяное лицо, там искорка будто загорелась: отозвалась мне душа камня. А Васька Нос в моей душе, в шапке с развесистыми наушниками, из света живого усмехнулся почти по-отцовски: «Да просто Васька Нос, и все!»

Скот, урожай и железо тянутся по дорогам, что живут земной славой. А дороги душ — в каких книгах о них написано? Если и есть такие книги, то они — только свет живой Божьей тайны, что из-за каждого камешка светит. Только этот свет и знает, как свернул ты туда, где уже через три туманных шага тебя мать родная не узнает, где стал ты сукиным сыном, вырвиглазом, где запел, что тюрьма тебе — дом родной. А когда-то был ты не Васькой Носом, а Ваней Ветровым, жил себе в Саратовской губернии, в городе Петровске, работал на вигоневой фабрике извозчиком и ездил в деревню к девушке, которую из ревности потом чуть не зарезал. В мо лодом Ванькином лице, в особенности, в круглых, напряженных глазах было что-то ястребиное; волосы желтые, кудреватые. На Колыму, как он сам говорил, попал из-за пустяковины: перед самой войной спознал с кладовщицей и выносил из склада, что было по силам, а она, чтобы скрыть недостачу, подделывала накладные. Пришлось ему все взять на себя. Пережив первую, самую страшную зиму в лагере, убежал погулять на воле, в тайге. А когда поймали, попал первый раз в камеру смертников. Держали их в сыром, непроконопаченном срубе, на земляном полу, застеленном мхом. Кузьма, бывший секретарь обкома, все время плакал и молился. Здесь же встретил Ветров и земляка из Саратова, инженера, и оба они истомились, ожидая смерти. Кузьму-секретаря потом расстреляли, а инженеру и Ветрову набавили срока.

Уцелел Ванька и в войну. И уже не ночевал он на стылых жердях в палатке, засыпанной для тепла снегом, уже не видел заключенных, на четвереньках толкающих в предсмертной слабости санки с дровами; забыл и того мужика, что вышел из зон ы на три шага дальше положенного, да так и остался висеть легким голодным телом на карликовых березках после двух выстрелов в спину. Уже промывочные приборы и бараки на зимнее время были для них построены, а в летнее время уже поднамыл народишко и золота. И не тряся, не корчился уже Ветров доходягой: котелок с углями на груди для обогрева, по карманам кедровые шишки. Говорят, карман кедровых орешек двести грамм масла сливочного заменяет. Уже в бараке люди не умирали каждый день и не лежали на обросшем инеем полу чурками. Уже не хоронили их, как бывало — переступишь траншею узкую, одна нога здесь, другая там: а под тобой — мертвые становком стоят. Потом такую траншею проутюжат бульдозером — вот и техника уже появилась! — и, сколько ни умирай, сколько ни вались нашего брата — могил все равно нет! Уже хорошо хоронили: каждый получал крепкий, хоть и щелястый, ящик. Тащили под сопку на волокушах по снегу, по кочкам, и, если ящик был велик, мороженный труп в нем грохотал, что твои камни. И каждому выдавали от дельную ямку. А иногда, если мужик был хороший, не только такую, чтобы вот-вот ящик вогнать, но и сверху еще, раздобрившись, насыпали пятнадцать-двадцать сантиметров гальки и мха. И, не как в тех безымянных траншеях, отвязывали с большого пальца льдистой ступни фанерную бирочку, прибывали ее к колышку и вонзали эту тычку в могильную грядку.

Уже Ванька Ветров понял, что он выжил, и оставалось бы ему лишь изумляться диву, с ним случившемуся — такое диво, что на всю жизнь надивиться хватит. Уже был на нем и полушубок, хоть и с покойника, но новый, хороший. И шла к концу война, на которую требовали с них сверхурочное золото. И уже, хотя и не мог еще возвратиться на материк, но был он свободен, потому как срок свой отсидел.

Вот это-то, видать, и задело его пуще неволи, пуще того дива жизни, которое случилось с ним. Не отпускают на материк!.. ну, что ты с ними будешь делать! Велят жить так: вышел из лагеря — и будь тут же, рядом, к такому же, как ты, вольному, дом срубившему, присоседивайся, о якутке подумывай. Уже и подписку с него взяли — на Дальстрое работать. Нет, не зря, видать, смеялся начальник прииска: «Вот хоть вы и говорите, что вы — вольные, а на самом-то деле на прииске вольных только двое: я и моя жена!»

Подымают из шахты большой железный короб — скип, валится из него грунт в вагонетку. Откатчик Ветров Ванька толкает вагонетку по отвалу, а сам все под ноги, на рельсы, выныривающие из-под взблескивающих колес, поглядывает. Вот так бы и катить, и катить, ни о чем не думая. Нет — тупик: скувырдывать вагонетку надо. Как своротит железный кузов на сторону, как загрохочет камень по промерзшему отвалу — аж на прииске слышно.

4

Серая, бревенчатая вышка шахты. Один конец троса закреплен на скипе и перехлестнут через железное колесико на верху вышки; дальше трос, тонко натянутый, течет через оконце в избушку, что стоит рядом с шахтой. В избушке, которую называют скреперной, трос наворачивается кольцами на каток лебедки, а впритирку с этим катком сидит красный от жара печки скреперист, и, вызывая редкие визги рычагами, не отрывая глаз от оконца, то спускает, то подымает скип.

Потом спускает в забой бурильщика.

Пока бурильщик упирается, держа на руках все девяносто килограммов отбойного молотка, пока, сверля камень стальным буром, дышит сквозь марлевую повязку, сереющую от каменной пыли, — можно посидеть у времянки, покурить, поговорить с

взрывником, который катает на дощатом столе вязкие глиняные палки — шурпы для запывовывания аммонитных патронов в проб уренных скважинах.

Времянка красная, снег в ведре на ней давно растаял, кипит.

Зазвонил звонок — бурильщик просится наверх.

Поднялся, вошел в скреперную — высокий, серый-серый от силикозной пыли и — как камень треснул — улыбнулся:

— Ребята, вы посмотрите, что я нашел!

И положил на стол между шурпами — как ржавый гвоздь-костыль.

— Вот тебе и на, — говорит взрывник, — да это же тритон!

— Тритон, — говорит и бурильщик. — Подобрал в забое. Ведь ему столько лет!

— Может, живой? — заговорил молчаливый скреперист, а глаза у него остались равнодушными и сонными.

— Ну, куда ему? — на такой глубине! — говорит бурильщик. — У меня бур ничего не берет. Надо новый — на такую породу попал.

— А ну, давай попробуем, — вскинулся Ветров Ванька, — может, это камень такой? — и, схвативши тритона, опустил его на уже потемневшее, фиолетовое железо времянки.

В это время закипел на ней чифир в кружке, стал выпирать грибом. Бурильщик прихватил кружку верхонкой, подул на нее, как на пиво, и выкрикнул:

— Зашевелился! Зашевелился!

И все увидели, что тритон, действительно, ожил и — вдруг побежал-побежал по плите и спекся.

Скреперист и бурильщик, поудивлявшись, стали пить чифир с селедкой, а Ветров поднял с полу теплое кремнистое тельце и перекидывал с руки на руку, пока не остыло. Долго смотрел на него, закулив, думал, хорошо ли тритону этому было столько лет спать в мерзлоте. Потом спросил вслух: «А что мне сделать, чтобы меня отпустили на материк?» Скреперист и бурильщик, часто слышавшие такой вопрос, ничего не ответили. А пожилой взрывник, тоже уже в который раз, стал рассказывать, что вызывает с материка жену и детей на прииск. «А у тебя там никого нет, так как же тебе быть?» — толковал он Носу. Действительно, никого не было, даже отец Кати бежал с семьей от коллективизации на Кавказ. Да и кладовщица одна, в войну, без мужика не жила.

Вдруг погасла лампочка. Перестали реветь компрессоры. Пошли все на улицу смотреть: есть ли на прииске свет? А навстречу им из морозной тьмы уже возносились, рассыпая звездистые хвосты, осветительные ракеты над зоной. Беспокоились стрелки на вышках, как бы кто не выскользнул во тьму из лагеря. Смельчаков, артистов разных всегда хватало.

Придя утром со смены в барак и раздеваясь в сушилке, Ветров в кармане телогрейки нашел тритона, про которого успел забыть, и показал его своему приятелю Москаленко. Веселый, ртастый, напористый хохол из Запорожья — он на теплоэлектростанции работал — не верил, что тритон в вечной мерзлоте продержался миллион лет. Ухмыляясь темно-синими красивыми глазами, подначивал: «А ты сейчас брось его в печку! Может, он снова побежит?»

5

Никому не интересно, никто не обращает внимания, как уработали, как урисовали бульдозеры прииск. Нет никому дела до того, что всяки й, кто сел за железные рычаги с дюралевыми набалдашниками — всякий хочет попробовать: а как режет нож?

Хватит! Больно глубоко взял — упирается!

Подымет нож над грунтом, перевалится бульдозер через отвал, снова нож опустит, поменьше каменный слой задерет, еще попробует. И все больше, все больше на прииске

становится таких мест пробы: несколько метров пути по ровной гальке или песку, а дальше — груды булыг тупиком.

Некоторые ножи так и торчат отцепленные, в груды булыг забурившись.

А то прямо за баракон для вольных, у новой уборной, на пеньках, на кочках силу бульдозер попробует. Тоже дорожки рваные, только помягче, в землю впечатываются. Тут, у карликовых березок, уже шиповник розовый зацвел.

Ходит по этим дорожкам Ванька Ветров, топает в мягкое керзачом, точ но неугасимый окурок затаптывает; или выглядывает что -то, точно проблеснул ему в глаза неверный золотой значок, и вот уже потерялся — где же он, где же он?

Чего он там ходит — ну, может, глядит, где под дерном червей на рыбалку наковырять? — пристаёт Москаленко. Любил хохол рыбалить: на речку не в сапогах, как все, а в кирзовых ботинках ходил. Нет, оказывается, ему и хариусов не нужно! Так шел бы хоть золото мыть! — не отстает Москаленко. А на кой хрен мне ваше золото сдалось? И стали над ним за это уже подсмеиваться: и чего все перед уборной торчит? Ну, нехай скалятся, еще не знают ведь, какой он номер отчебучить собрался. А больше всех подсмеивается Москаленко. Тоже не знает, что скоро и ему — ой, как задуматься придется!

Недавно вот, зимой, один освободился, а его на материк не отпускают, так он выбил окно в бараке, обоссал голые ноги и в морозную дыру выставил. Напился спирта, заснул. Отняли ему ступни, а самого сактировали — отпустили на материк, домой. Может, и его бы, Ветрова Ваньку отпустили, как бы не бухгалтер Маргаслепов. Толстолицый такой, черноволосый. Хотя, чем его Маргаслепов обидел? Ведь не Маргаслепов же на материк отпускает, и даже не начальник прииска — тут третий отдел запрашивать надо. А Маргаслепов вроде всего и сказал Носу в контор е: меня родина и партия сюда послали, и ты, Ветров, — будешь здесь работать! Ну, обругал вдобавок, без этого куда. Почему ж Ветрова так задели эти слова?

Потому, что посмотрел он на Маргаслепова и сразу понял, что это за человек. К таким людям, которых он сразу понимал, относил Ветров прежде всего людей из лагерного начальства, только и умевших, что ходить на цирлах; особенно один молоденький, с виду мягкий, офицер-чуваш засел в памяти. По утрам теперь просыпался Ветров от злой тревоги, как это было и тогда, когда он задумал зарезать девушку в деревне. Но теперь он это научился скрывать — под текучим, безличным, воровски-скользким.

И, чтобы лучше скрыть, балагурил по всякому поводу, заговаривая с людьми. А сам со все усиливавшейся ненавистью и со страхом думал про Маргаслепова. Особенно раздражали его маргаслеповские толстые морщины, придававшие бухгалтеру суровости, и еще очки. И стало его заедать, что только в маргаслеповских морщинах да в очках все и дело. Зачем, гады, в холодную одиночку сажали, легкие хотели отбить, зачем на работу гнали? И еще десятки других «зачем» вдруг припомнились ему...

Опомнится и подымет голову Ветров от шиповника, посмотрит вверх. Если бы кто сейчас глянул ему в лицо, увидел бы, какой гордой и холодной дымкой оно заволакивается и какие острые начинают сквозь ту дымку проглядывать глаза. Послушает Ванька, как точит низкое небо бекас над болотом и все не может просверлить, будто оно каменное... Что, не насиделся? — начнет он успокаивать сам себя. — Еще хочешь?.. А и хочу, только не здесь, не на Колыме!

И все больше его тянет на свежие бульдозерные ссадины перед уборной: здесь хоть земля на землю похожа, а не грунт!

Пришел с ночной смены. Напился бражки у Софрона -якута. Старуха его, ходившая в огромном балахоне, сидела у оча га с трубкой в зубах. Запел ей: «Ночь темна,

луна не светит, Саратов спит спокойным сном...» Купил у них целый стакан махорки. У гаража много железа торчит из камней: вот, хотя бы этот бур от отбойного молотка... Взял, да и... И он выдирает железо из-под камней. Стоит, загороженный их свалом. Страшно становится вдруг Ветрову от того, что не убить ему Маргаслепова. Нет, человека убить — это раз плюнуть! — говорит себе Ванька. А страшно ему оттого, что замысел этот — напасть на бухгалтера, то есть, на начальника — настолько дерзновенен для Ветрова Ваньки, что даже и желание уехать на материк отрывается от этого замысла и он, приобретая какое-то самочинное значение, все больше втягивает в себя душу. «Только бы испугался, гад, запаниковал, — рассуждает Ванька. — А то, не дай Бог, очухается, такой толстомордый!..»

Живут Маргаслеповы у стройцеха, домишки тут, на взгорке, по берегу протоки, лепятся друг к другу тесно, заборы дощатые, можно будет потом заныреть за какой-нибудь и уйти в ивняк. Отпахнул обитую войлоком и мешковиной дверь — в кухне никого. За переборку синюю, тесовую торкнулся и слюдянисто осклабился, глянул, будто проснувшимися глазами: «Здорово, хозяйка, а мне бы хозяина твоего!»

Маргаслепова стирала рубашки в корыте, рядом в перевернутой кверху ножками табуретке стояла, перебирала ручками по деревяшкам двухлетняя дочка. «Да ведь он на работе, — подсказало что-то Ветрову Ваньке, — черт меня дернул с ломиком открыто...»

«Вот, оказывается, как», — пронеслось еще в нем, и это «вот, оказывается, как» значило, что замысел уже бесповоротно свершился и, что бы он сейчас, Ветров, ни предпринял — не в его воле уже было помешать этому замыслу. Он и усмехался так, в растражку, проснувшимися глазами, потому что радовался, что Маргаслепова нет дома. Одни пустяки остались. И ткнул ее буром — с визгом бросившуюся к ребенку: ткнул, забыл, что не лом у него остроконечный, а бур тупой, разлапистый. Она, схватившись за сталь мыльными, скользкими руками, упала на колени, но тут же на четвереньках дернулась и — в дверь, на улицу. Закричала: «караул!» Тогда Ветров хлестнул ребенка железной. Даже и табуретку разбил. Перевернул со скамейки на пол корыто с мужниными рубашками. Маргаслепова с визгом накинута на него у дома, бросила камнем. И вдруг, глянув на него зорко, отскочила, побежала. Он догнал ее и убил. Хотел незаметно, как и намечал, спуститься с взгорка и — за электростанцию, а там кусты, беги куда хочешь по берегу, но начальник стройцеха, бывший моряк, ловкий, маленький мужичок, услышал крики, подоспел с плотниками, и сбили его с ног, не дали уйти.

Москаленко сильно удивился, узнав об этом, а потом и разругался, когда увидел, что пропали из-под койки его любимые керзовые ботинки, в которых он ходил рыбалить. А это Ванька Ветров обулся в них, отправившись к Маргаслеповым.

7

В тюремном бараке был земляной пол, двойные нары из колотой доски, и сруб был мохом проконопачен — все попрочнее, чем в том, где он когда-то ждал смерти с Кузьмой-секретарем и земляком из Саратова. Здесь в камере смертников сидели: начальник прииска, двое молодых уголовников из штрафного лагеря и дед, как его все называли — потухший, сгорбленный старик, с поджатыми мертво губами. Здесь же встретил Ветров и Москаленко, но они не признались друг к другу — не успели. Москаленко лишь глянул на свои керзовые ботинки на Ванькиных ногах и отвернулся.

Потом узналось: пока Ветрова судили, к Москаленко на теплоэлектростанции придрался за какую-то мелочь инженер и ударил с маху по морде — за это Москаленко, не стерпев, раздробил ему голову гаечным ключом. Испугавшись, что его снова посадят, а то и расстреляют по законам военного времени, стал прикидываться сумасшедшим. Вот и привезли его сюда, в большой поселок на берегу Индигирки, на медицинскую экспертизу, и посадили временно в камеру смертников.

Молодые убийцы: один сибирячок — черен, лицо маленькое, а губы толстые, другой — с неприятными синими глазами, русоголовый. Они в штрафном лагере задушили брезентовыми удавками четверых заключенных из новоприбывших, заставляя их перед смертью петь и плясать, но к расстрелу были приговорены по 58 -ой статье. А начальник прииска, поехав в отпуск на материк, тайком повез с собой три килограмма девятьсот граммов золота. На него кто-то донес, в дороге обыскали и чикаться не стали — дали высшие меры.

Дед, сгорбившийся на соседнем с Ветровым месте, был на материке заместителем начальника почты. Он смотрел так застыло и мертво, как глядят люди, изнуренные безумием, и Ветров удивился и позавидовал, что старику здесь незаботно, он — чокнутый! Заметив, что Ветров на него, сам об этом забыв, уставился, дед потерянно опустил глаза. У него была привычка ходить по камере, но здесь было тесно, поэтому, низко опустив голову, он подымался — и подолгу, в позе застывшего ходака простаивал, мысленно бродя, наверное, по одному ему ведомым пространствам. Лишь на второй день, может, последний в жизни, вдруг подошел к Ветрову и спросил едва слышно, со странной надеждой в голосе: «Это вы на меня написали в профком?» Ветров даже отодвинулся от этих темных, оживших глаз, таким его обдало страхом от этой чужой, странной надежды: «Ты что, дед? — выговорил он, — я тебя впервые вижу!»

Дед недоверчиво, со слабым укором глянул на него снизу вверх и надолго осел на свое место. И одет он был чудно: в джемпер задрипанный и синие сатиновые штаны. Сам Ветров еще был в лихорадочном оцепенении после быстрого суда. А двое из штрафного лагеря переговаривались напоказ громко. Но замолкали и они — смотрели на стены, на зарешеченное вверху оконышко, на тусклую, красную, как боляток, на потолке лампочку, прямо в серый, как бы задыхающийся ее свет. И было похоже, что это больные сидят в узком коридорчике и ждут, когда же их доктор вызовет на осмотр.

Внезапно начальник прииска спросил Ветрова:

— Ты вот его дедом назвал — а знаешь, сколько ему лет?

— Лет шестьдесят, — ответил Ветров, удивляясь, зачем ему сейчас это знать. Дед сидел рядом, точно не слыша.

— Нет, — глазные щели и морщины оплывшего лица начальника прииска раздвинула осторожная, нездешняя, из вольной жизни, усмешка. — Ему всего тридцать пять, наверное, твой ровесник.

А больше здесь молчали, точно уже отошедши от себя. И это молчание затягивало, как разговор, только без слов. Поэтому в соседних камерах тюрьмы, шумных, с картам и, а то и с дракой, говорили: «А смертники-то, ребята, смиренно сидят». Слышалось в этом и снисхождение: «Как же, мол, по-иному им сидеть?» И уважение: «Все-таки не простые они ээка!»

8

Как долго длится отпирание дверей снаружи: весь этот бряк, скрежет, скрип. А потом сразу:

— Москаленко! — выкрикивает конопатый, рыжий начальник караула Копылов, встав на пороге. За ним — два стрелка с карабинами.

Смертники зашевелились — сейчас день, а днем не расстреливают.

— Москаленко! Я кому говорю? Собирайся! — повторяет начальник, как будто у Москаленко есть, что собирать. Москаленко сидит, не двигается, только глаза свои, и без того выпуклые, выкатывает, заводит, да вдруг как забормочет:

— Бабушка, покорми! Дайте мне среднее число на ниточке, намотайте его на пальчик. Петушок-петушок...

Это он умалишенным стал прикидываться.

— Я тебе покажу, как умалишенным прикидываться!

Как дал ему Копылов — метра три по камере Москаленко пролетел. И — о нары, но сразу же сел, на руки поглядел внимательно и засмеялся. Пальцы растопырил, начал руками перед лицом водить:

— Где мое кожаное пальто и бурки? Зачем мне лопата?

А Копылову — что? — он и не на такое насмотрелся.

— Ребята, — говорит Копылов конвойным, — ну-ка, покажите ему умалишенного!

И стрелки стали показывать Москаленке умалишенного, а потом схватили за ноги и поволокли из камеры.

Ветров и дед смотрели равнодушно, уступая место бою. Ветров думал: «Толкай - толкай чернуху, хохол — все равно раскусят». Двое молодых убийц, «наша сволочь», как называл их здешний врач, глядели перед собой с одинаковыми, остановившимися оскалами. Только начальник прииска нервничал, елозил. Он все еще уговаривал себя: не орать, не сходить с ума, не кусаться тем последним ночным часом. Особенно укрепляла его мысль, что золото, которое не удалось увезти, ему положено по праву: за первый срок, полученный без вины, за долгую работу на Севере, что развела его с женой, а еще в Москве, куда он ехал в отпуск, рос у жены сын -инвалид. Как же было ему не помочь, гражданин судья, без ноги ведь парню какая житуха. Начальник прииска был здесь старше всех и, как с подчиненными, со всеми заговаривал, чтобы перебарывать страх — надвигающийся извне, отовсюду. Но лишь заговорит, начинало давить, что человек перед ним — как вырезанный из фанеры: одна тень; а настоящий — точно за спиной затаился и сейчас набросится сзади. И замолкал начальник, слабея, не зная, куда спрятаться от ловушек-людей — от длинного, рыбьего лица со слюдяными глазами Ваньки Ветрова, от растопыренных ноздрей, мокрых губ, неприятных голубы х глаз молодых подельников. И подумал Ветров Ванька, поглядывая на него: «Начальник прииска, в бостоновом костюме — и тоже, как мне, высшие меры».

До этого, если бы ему сказали, что вот, на таком -то и таком-то прииске начальника расстреляли, он бы не поверил. Не забивай баки! — сказал бы. От убийства он еще не отошел, так и не успокоился. «Разве я ее убил?» — спросил он на первом допросе у следователя про Маргаслепову. «Зачем ты ее столько раз ударил?» — спросил следователь. «А мне все казалось, что она жив ая», — отвечал Ветров. Он точно хотел не убить, а что-то большее, чего и объяснить себе не мог. И теперь от этого устал, и думал: ну вот, конец. Мысли мутные, ленивые, как бы чужие, проплывали под черепом. «И зачем ему золото понадобилось? — перебив свежие воспоминания, снова застрял вопрос в нем. — Весь прииск был евонным, а он — золото?» — плыла и плыла в его мозгу мысль и мешала заниматься чем-то другим, более важным.

Сразу, как попал Ветров в лагерь, стал понимать: начальники бессмертны. Именно здешние: начальники олпов, участков, первалбаз и приисков. Особенно же самый большой здешний начальник — Дальстроя, сидевший во Владивостоке в красивой конторе на сопке. Он был столь таинственным, что Ветров и представить его образ не умел, а иногда даже думал, что это какой-то дух или целое учреждение. Прежние начальники, на воле, имели власть только над какой -нибудь его, Ветрова Ваньки, долей, и были все как бы порознь. Бригадир следил за тем, чтобы он работал в полную силу, военком — за тем, какой он растет солдат, сколько в нем весу пудов. Но таких начальников, которые бы отвечали сразу и за жизнь, и за работу, и за смерть, до Колымы он не видывал. Как бы он, Ванька, ни петушился, а восстать с ломиком вот на такого начальника прииска, какой сидит теперь в бо стоновом костюме с ним вместе в одной камере — все равно бы не смог. Поэтому только и хватило его на Маргаслепова,

бухгалтера, тоже силком да кулаком по столу сюда пригнанного. Да и до того, можно сказать, не дотянул...

«Сидит, гад, воротит морду, со скотиной в одной камере и перед смертью быть не хочет», — размышлял Ветров со все усиливающимся равнодушием. Ему все чаще казалось, что это не он думает, а мысли сами, как хотят, всплывают в его голове и продолжают дальше свой путь в головы других сокамерников. И каждая из мыслей как бы уносит еще на своем оперении часть телесного его состава, праха. И тупо ему вспомнилось остроносое, молодое лицо земляка-инженера из того, сырого сруба для смертников на Серпантинке, и как инженер к чему-то говорил, что не хватает копирки, и если старую копирку намазать солидолом, то можно писать...

9

Снова заскрежетала, загремела дверь, и в камеру ввели нового заключенного. Он стоял еще на пороге, а Ветров уже почувствовал, что он из той жизни, где нужна для документов копирка, куда уплывали все его мысли, унося частицы его, ветровского, мозга.

И вот сейчас вместе с вошедшим в камеру все те частицы воротились, но живут отдельно. В этих волосах, хотя и обритых, но видно, что — черных и густых. И в узких глазах, один — заметно косой, вприжмурку. И в коже лица, хоть и рябоватой, но по молодому смуглой. И в том, что не дашь ему и тридцати, и здоров, и его, Ветрова Ваньки, наверное, сильнее...

А новый заключенный в это время беспокойно водил своим здоровым глазом по лицам, прикидывал, какой к кому сделать подход. Сквозь нарочитую насупленность на лице его проступало любопытство. С напарником он ограбил горного мастера, шедшего на ночную смену: у мостика через протоку, пригрозив ножами, взяли фуфайку и пачку папирос. Почему его посадили в камеру смертников вместо Москаленко, никто не знал. Срок ему, как он думал, должны были дать небольшой. И до этого дела у него срок был небольшой, за воровство. По имени он был Василий, по фамилии — Четвергов. Он быстро сообразил, что к чему, и подошел к заместителю начальника почты.

10

Узнав, кто такой Четвергов Василий и по какой статье сидит, Ванька Ветров тяжело лег на нары лицом вниз. Кто его знает: может, сегодня и придут? Может, сегодня и последняя ночь? — таяло тело страхом и вонючим, нутряным, будто прямо из trebuхи выделявшимся потом. Он озяб, взмокнув, и плотно прижался к нарам, чтобы согреться. Сибирячок громко харкал во тьме, стараясь плюнуть на середину камеры. Молчаливый дед, засыпая, вдруг заговаривал громко: ему снились хозяйка, покойная Ревекка Андреевна, помогшая его жене поступить в гимназию, и книга, подаренная жене за отличные успехи при окончании гимназии, и потом изъятая во время обыска. Из нее вырезали несколько страниц, портрет царя и — вернули. Ревекка Андреевна объясняла, зачем и куда поместили царский портрет, и как теперь пустые, вырезанные места можно читать, но дед прочитать ничего не мог и страшно пугался. И, наконец, присел с начальником прииска на ступеньки крыльца со столбиками, как у приисковой больницы. Разговаривали о том, что это — не нары, щупали доски. Начальник прииска даже встал и потопал хромовым сапогом, пробуя ступеньку. Да, хлеб только белый, про черный забыли, не то, что на материке — говорили они, — круп много, мясо трех сортов, рыбы до отвала. Потом про какую-то посылку с продуктами, посланную в сорок втором году на материк из Сусумана. Но все это было вязкое, чужое, лишнее обычной волшебной легкости и подробности снов — и тут же уходило.

То, что происходило с Ветровым, нельзя было назвать сном. Сон — смерти брат, разве можно спать людским сном перед расстрелом. Хотя вид Четвергова Василия, в котором плотно угнездилась почти вся жизнь, унесенная от Ванькиного тела, как-то странно успокоил Ветрова. «Вот он, значит, какой», — мелькнуло у него. Этот «какой» так и вертелся в Ванькиной голове, и был он, наверное, тот самый темный образ, клок тумана или мысленной тьмы, что помогал ему быстро и остро схватывать, примерять к себе все еще никак не утихомиривавшееся, все еще происходящее убийство матери и дочери Маргаслеповых. Только теперь образ этот обмяк, сморщился. И сам Ветров, прижимаясь в ознобе к нарам, чувствовал, что он, по-тебя, будто истаял дотла: какое-то серое тенето, как в углу камеры, под потолком, осталось от него... А что будет, когда придут и крикнут: «Ветров, собирайся!»

А если Ветрова-то уже и нет, лишь, как в стеклянной банке, затянутой паутиной, бьется что-то, зудит по мушиному. Тьма сверху, от потолка, валилась на него, как густой, угольный свет, Ванька чувствовал, как луч один вливался неприятно в затылок, заполнял работающей пустотой всю душу. Тьма вокруг жила, дышала сама по себе, отдельно, точно сорвавшись с гнезда пространства, и колебалась, содрогаясь ласково, будто где-то рядом в ней ворочались какие-то звери, плескались тяжкими тушами; и во всем этом было что-то грозное и нечеловеческое. Ванька на миг потерял себя, но тусклая молния глубоко осеребрила под ним бездну, будто он взмыл уже на высоту, над морем — и сердце обомлело, и тотчас обрыв под ним задернулся. И тут под сводами просторной тьмы восходит темное, сияющее лицо, как отражение на ночной воде, и зовет: «Ваня, Ваня!» Зовет, обещая, что за этой тьмой есть еще лучшая тьма. И уже явственно различимо — это же Катя, которую он бы зарезал, не помешай увязавшийся тогда за ними сосед Николай.

И тут Ветров, точно проснувшись, соображает, что на нем — телогрейка! И он бодренько похлопывает себя по бокам: а откуда же она на мне, ведь на нарах в одной спечовке лежал? — и азартно взбирается куда-то вверх по обычной, только очень крутой осыпи на сопку. Неужели это я там так паниковал? — не узнает он себя.

11

Да и светлее как бы стало... под ногами не то стекло, не то лед! Он стоял на макушке ночной, голой сопки — в звездной гуще — и смотрел, как наносило издали словно северное сияние небольшое, или как бы от далекого пожара заревко. Подолбил каблуком кирзового ботинка в выбоины, похожие на скотьи следы — ни кусочка породы не отбил. Сильный, пронзительный ветер, который редко бывает на Верхоянских хребтах, налег на него так, что звезды задробились в глазах. Новый подъем прямо на звезды наползает — они бьют лучами уже из глубины другой стеклянной горы, и блеклое заревко тоже уже под ногами маревеет. «Я по звездам иду, как бы не провалиться», — подумал Ветров и припустил храбро, как мальчишка по первому льду, бегом. Очи ему заслепило, шапка на нос насунулась. Встал передохнуть — и ветер вдруг утих, как умер; склону сопки, переходящему в темную, плоскую долину, конца нет — небо на краю странное, мутно-зеленое, кажется, что совсем оно близко. И почувствовал Ветров себя, как в детстве, беззащитным. «Куда хоть я попал? Даже у нас, на Колыме, нет таких мест голых. Может, это для расстрела меня сюда отпустили? Кто их знает, как они теперь расстреливают?»

— Я здесь!.. Стреляйте, стреляйте, гады! — закричал он в темную, притворившуюся пологостью земной, пусто ту. А вышел то ли стон, то ли писк.

Но пустота эта притворная расслышала его внутренний крик и отозвалась: вздохнула грузно, по лошадиному, прямо в сердце. Но во внешнем, притворившемся вещественным мире, у темного каменного завала, ничего не сдвинулось, не ворохнулось — и разом робость и тоска пришибли Ветрова Ваньку.

За завалом каменным — обрыв тьмы. Тьма запеклась, вобралась в грунт — и насунулась на Ветрова теперь блекло-зеленая пологость: то ли это маревко, то ли поздний закат ее подкрашивает темно-малиновым светом — тем, что уже невдалеке. Быстро, дробно, будто от себя самого, Ветров побежал, сухо стало в груди, сердце стукнуло и замолчало, словно его взяли в обруч, с маху съехал он с осыпи в просторное впалое место. Там выстывал малиновый закат над леском, под ногами было уже темно, а на свету, — свет хмарый там стоял, будто намешанный с песком, — горбилась избушка, огороженная тыном из жердей, и на многих тынинах черепа-голова горели огнисто-золотым, чистым светом. И костей было много у того тына — человеческих, сиявших, как золотые самородки, с вкраплениями грязного кварца, да и вся впадина была словно гнездышко огненное, вот свет хмарый от этих старых костей застыло и стоял, точно намешанный с песком. Вот на это-то заревко он, оказывается, и шел, отсюда этот свет и подкатывался к нему, обручами оковывая сердце, а теперь все обручи соскочили — и стало оно бухнуть стуком на всю эту впадину земную.

12

Взошел на крылечко — в темных сенях стоит кто-то с глиняной плоской в руке. Пламешко слабенькое, пополахивая, какую-то звериную морду, торчащую из-под низко повязанного платка, освещает. И как пахнет тут падиной на Ветрова Ваньку! Точь -в-точь, как летом, когда ветер с кладбища на прииск подует.

— Ждала я тебя, Ванюха, долго... — и замолчала. И тонкий стон старческий, с приныванием, передернул всю эту горбатую корягу: словно из самой тьмы могильной это принывание пришло. Одета в какой-то зеленый мешок, и воздух, окинувшись туманцем зеленого, звездного, морозного света, едва мерцает вокруг нее. И снова, подавив старческое принывание, повторила она вразтяжку:

— Ждала я тебя долго, а нынче ты сам ко мне головой пришел... И без лазива влез, вот как! Я дам тебе избаву от расстрела. За то дам, что ты тритона, животинку мою, сжег. Он вить снова ко мне вернулся...устал спать в мерзлом -то...

Смысл слов хозяйки не дошел до Ветрова Ваньки. Смысл этот ему был не нужен: все тело его понимало, что теперь — конец. Даже вся телогрейка его пропиталась запахом падины, исходившей от старухи. Сам звук ее голоса, в котором отдавалась и блатная куражливость, и сильный предсмертный стон, — были смыслом, и были Ваньке странно близки и понятны. Таким тоном ему в лагерях не раз говаривали.

Вошел следом за мразью этой в затхлую избушку. Плоску ненужную на стол горбатая поставила: свет здесь рвался снизу, от русской печки, где вместо дров лежала груда золотых, будто горячих, живых черепов — стоял свет кругом тяжело, напряженно и не оседал. Заслонку отняла — еще сильнее озарилась избушка: в печке вместо поленьев золотым живым огнем, стоячим, тоже светили-горели черепа. Если заглянуть во все глазницы

и зубы, то на всех какой-то один напряженный оскал — будто осмысленно они выполняли свою работу, горя и светя...

Но Ветров Ванька вдыхал запах падины, и его распирало от гула его сердца, аж закладывало уши. Он и не заметил, что зеленоватый, звездный, морозный туманец в избе вокруг старухи угас. Длинное, зеленое, во что она была одета, походило на халат, вроде под ним виднелись и портки, и мерцало лыко огромных березовых лаптей. А что в ее лице, в глазных впадинах, залитых тенью — того Ветров не мог уловить, только какие-то искорки красноватые изредка перед ним посверкивали.

Вроде как подхихикивает, заговорила что-то с лязгом зубовым. Что это она такое говорит? Черепа в печку подбрасывает. Горб, как мешок, за плечами.

— Баба Яга, отпусти меня! За мной стрелки по пятам идут, — выдавил Ветров Ванька и испугался своего немощного голоса — голос из тела наружу опять не пробивался.

Оборотилась на него Баба Яга лисьей пастью, вроде как насмехается. Так и стоит с черепом сияющим в руках. Ветров Ванька осел на лавку, качнув воздушной волной пламешко на столе.

Подошла, смотрит на него ласково, пасть раздвоила, точ но лизнуть хочет. Падиной своей совсем задушила... Насмотрелась, налюбовалась досыта, пошаркала к печке. Ухват взяла, чугунок в печку ставит:

— Каки таки стрелки? У меня тут тесно — курице негде ступить... Чичас щи разогрею... Животинку ты мою спас!.. Сунь-ка руку в карман: тамotka, аль нету? То-то... Эко ты спроворил — без лазива ко мне забрался! Таку дорогу выйти! Ну, она тебя и выведет, избаву даст... Похлебай хлебанья -то!

— Падиной душит, — говорит Ветров Ванька, — не буду кухтить!

Обиделась старая:

— Ты что, паскудник, моего запаха, что ли, там не нюхивал? Кабы не животинка моя, я бы тебя! Ешь, я отойду...

Обида эта откровенная Ветрову Ваньке отчего -то понравилась. Пересилив тошноту, хлебнул раз, хлебнул другой — и сожрал все...

Еще раз явственно, громко, с приныванием вздохнула Баба Яга, и говорит:

— Ты уж, верно, и глаз положил на косога -то?

Ничего еще не понимает Ветров Ванька, только чувствует, что задрожали в нем все косточки-суставчики от неясной радости.

— Дам-дам избаву. Тынина уж приготовлена у меня для Василя Четвергова! Однако, милоч, придет время — и тебя наткну. Светить -то надо тут кому-то.

Вынула что-то из печурка и несет.

Видит Ветров: нож, из полотна слесарного выточен. Жидкий, по ручке проволокой медной обмотан. И брезентовая удавка тут же — как у тех двоих, из штрафного лагеря, с самодельной пряжкой.

— Давай, — говорит Ванька, — хороший нож. Не то, что пика. Пикой круглой, бывает, саданут, так долго не заживает...

Спрятав в телогрейку нож и удавку, Ветров залез на печку и п одумал: «Ну вот, а Москаленко не верил, что тритон живой». Сон его долил, но он старался следить за старой стервой, как он ее уже про себя называл. Спал с открытыми глазами и видел, что все светлее становилась в избушке тьма.

Мерцало, как прорубь, темное окно, под ним изогнулся бугристо тритон, зимой принесенный Ветровым с шахты. Там, в сушилке, он был уже сожженный в печке, а здесь — воскреснувший и сильно выросший. Кремнистое, блестящее тело, нарядные, коричневые гребни, а на спине черный, острый зуб с полметра высотой; а еще источал панцирь его охристый, шероховатый свет — так, что стал различим на стекле оконышка малахитовый мошок. И глазки маленькой головки — агатики черные, ювелирные. «Стервь эта старая его животинкой называет... что же, тритон — баба?» — подумал Ветров. И черные, агатовые бусинки, действительно, уже по -женски блестели почти вплотную к его лицу, напоминая ту, которую он, Ванька, по его же словам, любил «заразной любовью»... Стараясь отделить сон от яви, Ветров смигнул, и с ним сама тьма а избушки смигнула — и вдруг видит он рядом знакомый, отделившийся от тьмы грустный облик. Катя?! Она или нет? «Ваня, Ваня!» — опять позвал его милый, знакомый голос. И рванулся на голос он, и не видел, как стащили по приступку его одеревеневшее тело, как отодвинули заслонку печи, где черепа цвели, как большие багровые маки.

Побежал он по коричневой, логоватой глине — от странной, солнечной голоты вокруг давило нутряной силой, плотяным теплом. Долго шел по теплой, иссера-желтой пустыне, спустился в сухой овраг: и видит: пасутся на просторном дне две белые лошади, а впереди, вверху, на краю оврага, две женщины в белом. Собачка небольшая подбежала — лиловые сосцы волочатся по иссера-коричневой глине — понюхала Ваньку...

Выбрался из оврага по тропке — и все окинулось зеленым, дымчатым вихрем света. А он, как будто, снова в избушке. А там, как в пещере, темно и душно от натопленной печи, свет стоит только посередине, и в нем на столе ме довет пергамент раскрытой книги, плывут по листу алые заставки. И голос прямо из света читает: «Твоя жизнь — пирог из чертятины». И видит Ветров: что-то черное, как огромный гроб, выступает из тьмы и загораживает выход... «Умрешь — лопнет твоя телесная оболочка, как орех, — гудит голос, — и вспыхнет огнем твоя совесть». И гудение это точно утягивает его, закручивает в теплые, исходящие живой силой неведомые глубины. То проплывает перед ним приземистый, белокаменный, большой город — толстые стены, прямые башни, раскрашенные статуи — и люди в белых, с прямыми складками, одеяниях...где это? А то какие-то зеленые заросли, вроде из пальм, какие Ветров только на картинках видывал, тепло кругом, небо синее, песок белый-белый, и народ кругом чуть не гольшом шагает, а к ногам Ванькиным теплые волны льнут. А потом небо утробно провисает пересиненной пеленой, сливается с синими, теплыми волнами, а он будто лежит в них, жмется к мягкому песку, а вода ласково и горячо нежит его тело — и чувствует он, как обращается в какое-то допотопное животное, вроде ящера или того же тритона....

Баба Яга собрала из печки, встряхнула золу на холстинке и выбросила за порог. Очухался Ветров Ванька — так и лежит лицом вниз, как лежал, прижавшись потным телом к нарам. Духота.

«Давно я так крепко не спал», — подумалось ему. И тут же сердце горячо стрепыхнулось, заныло, он вспомнил, спохватился, почему так давно не спал спокойно. Потому, что ведь его вот-вот расстреляют! А брюху было еще сладко от морского тепла, еще томили, проплывая, низкие, будто знакомые, белокаменные бараки древнего города, и промелькивало, накладываясь на все это, совсем уж несуразное: будто ездит он с комсомольской бригадой по деревням и рассказывает дуракам деревенским, как матросы Зимний брали...

Он повернулся на бок. Все тело стало чутким, пружинистым, глаза, казалось, даже и в темноте видели. Минута за минутой росло в Ваньке усиленное ощущение всех жил, костей и тканей тела. Если бы сейчас подняли его и велели бы бежать бегом за восемьсот километров — побежал бы! И если бы подошел он сейчас да ударил по углу барака — угол бы выворотил, вот сколько в теле прибыло силы. Он даже приметным движением поджал и снова вытянул ноги. И тут ему послышалось, что там, в углу, где лежал начальник прииска, зашептались. У Ветрова даже дыхание участилось, когда он понял, что деда нет рядом, — так ему захотелось вдруг расслышать, о чем же тот может с начальником прииска шептаться. Громкий стук сердца забивал обрывки шепота, но все же он расслышал. «Да что говорить, тогда бы мы не сидели тут, не рассиживались...» Поворачивая так и этак эти случайные слова, он глубоко ушел в них мыслями. Мысли навеяли дрему. Собрался было снова повернуться лицом вниз, но понял, что все эти его мысли и прислушивания — одно ленивое влияние, чтобы оттеснить ожидание смерти...

Ветров сел на нары. И вздрогнул: в дверь ударили. Он собрался встать, но лишь накрыл ладонью ножик, выскользнувший из рукава, и тут же понял, что это ножик его шума такого и наделал, а что за дверью все спокойно, никто еще не иде т.

И уже какая-то новая, радостная и крепкая мысль охватила его голову. Опять, точно бесплотный какой-то жезл, как луч, просунулось что-то сверху в его череп — и лилось, лилось сквозь безболезненную эту рану. Ясная и крепкая сила дошла до сердца, тряхнула его настойчиво, потекла по жилам ног...

Он спрятал нож поглубже в рукав, где нашупывалась и брезентовая удавка. Неужели никто в камере стука не услышал? Дед вяло, как привидение, прибрел и лег на свое место. Но что ему этот дед, да хоть и начальник прииск а! Он и против четверых таких броситься готов. Что ему и вот эта чурка, косой этот... Надо бы его разбудить...»Эй, косой!» — позвал он. И, согнувшись, замер, как зверь: как бы кто не отнял у него этого косога...

15

«Ну, надо предупредить гада, а то буде т поздно...»

— Выходи, косой, сука, за меня — понял! — и кольнул немного.

Сейчас вот — хоть одно движение супротив — и быстро натянется кожа под острием, потом — склизь, и войдет ножик, как в сливочное масло.

Сука, он даже и голову боится повернуть. Ле жит, силится окинуть его, Ветрова, косым своим глазом, а косой глаз не разжмуривается, трясется... А здоровый глаз от страха вылупился — так и бы ткнул в него...у-у, сука!

И тут затворы загремели, петли железные заржали, хлестнул луч фонарика по нарам.

— Усаенок, собирайся! — выкрикивали по списку.

Это пойдет сибирячок.

— Белозеров!

Дед, заместитель начальника почты.

— Семиколонов!

Это начальник прииска...

— Товарищи, отпустите... Гражданин стрелок, отпустите!..

Все повскакали, тени, пополох.

— Не двигаться, сидеть на нарах! Ветров!

— Ветров!

Ванька подтолкнул косога — и ножом, и рукой... Вот тот уж у двери... Схватили. Семиколонова, начальника прииска, тоже от нар отодрали...

И мгновенно дверь захлопнулась.

Ветров почувал, как заглянули в волчок, услышал затихающие крики, и колотилось в нем: «Да-да, тебе там поверят... Эти, из третьего отдела, тебе там поверят, как же...А если и поверят, так нарочно кокнут, раз ты такой путаник. Они ведь ушлые, навидались всего там...»

И еще ему подумалось: вот, и удавка не потребовалась... Может, самому еще пригодится?

16

В тот черный, ночной по колымскому времени час старуха Четвергова сидела за столом.

В окно глядело ясное русское утро, на столе утихал самовар. Старуха Четвергова пододвинула под кран миску с дурандой, ошпарила кипятком и стала мять дуранду железным пестиком. Запахло жареными семечками.

Потом она очистила несколько холодных картофелин — хлеба не было. С дурандой картоху намешивать не стала, стала просто прикусывать.

И тут положила ложку на стол. Увидела старуха Четвергова, что закусила она сразу две картошины.

«Как-то там мой Васюшка? Наверное, его, милого, там голодом морят», — подумала она и облилась горячими слезами.

Так почти ничего в тот день и не ела.

Так в тот день и стал Ветров Иван Четверговым Василием по формуляру.

17

Стали все его звать в лагере Васькой. Не любил он, когда по фамилии окликали, и дергался немного, когда кричали ее. Срок у расстрелянного за него Четвергова небольшим был, да и того он не отсидел, освободился раньше. Уже тогда его за глаза называли Васькой Носом. Да когда и в глаза — не обижался.

Только думал: был Ветров Ванька — и нет Ветрова. Был Четвергов Василий — и его нет. Какой-то вот Васька Нос еще появился. И этот Нос — я...

А от прииска, где он убийство Маргаслеповой совершил, его в ту пору далеко увезли.

18

Сгорели Четверговы в тридцать четвертом году. Остались, в чем были, хорошо хоть Васятка успел маленького вынести... Да и того прибрал Бог, царство ему небесное — хороший такой мальчик был!

Люди дали икону да зыбку на погорелое место. Тетка дала пальто -демисезон да хорошую кофту. Тайком от тетки приложил Федор Четвергов к пальто -демисезону да кофте пуд ржи — лесу купили. Пристроились к Лавочкиным. Лавочкины -то тоже икону дали.

Чистый мужичок, вроде как из приказчиков, в зеленом кафтане, в сапогах, у зеленой же занавески на коленях стоит, молится. Над ним оконышко все серебряное, и в серебряном том оконышке — Божья Матерь: по грудь, с ребеночком на руках. И надпись старинными буквами по белому платочку между зеленым мужичком и Божьей Матерью: «Человек некий беззаконен имеши правило повседневное ко пресвятой Богородице молитися, и хотяще идти на злое дело, и узре се образ живой».

Самовар Четверговы в первую очередь купили. Прежний -то нескладный был. А у этого и ручки, и кран витые такие. И с медалями царскими. Всем видом на барыню в широченной и важной юбке похож.

Верно, надорвался старик Четвергов, бревна на дому ворочая. Война началась, он голоду хватил — и сразу же Богу душу и отдал.

Михаила, старшего, взяли на фронт и убили.

Васятку, поймав на воровстве, посадили за железные д вери.

Четвергова, за мерзлый навоз запинаясь, ходила на ферму, обхватывала коров, тянула их встать.

А и встанет, так что? — литр-полтора, больше не надоит!

19

Все в избе переменялось. И запах даже не тот стал. Хорошо еще, что своя картошка есть. Когда и ее не бывает, одни картофельные очистки. А и от очистков польза:

колобушку из них съешь — и голова кружиться перестает. Ведь голова -то, милые мои, кружится с голоду!

Из посуды — чугунок с деревянным вставленным днищем: родное чугунное давно протерлось. Спеленутый еще покойником, горшок стоял в сенях, память был — не трогала! Ну, еще кринки да миски...

От прежней хорошей жизни один только самовар и оста лся. И гудит по-прежнему, не жалуется.

Сядет за самовар Четвергова, поглядит на него, да и зальется горячими слезами. Помрешь вот так вот, и будешь лежать на печи одна — никто из дома не вытащит.

А поплачешь — глядишь, голод и отвалит.

Так, не евши, и встанет из-за стола.

Кабы не самовар — так уж и делать что — не знала бы.

И по воду-то с самоваром ходила. Ведер не было...

20

А тут приходит красная шапка из сельсовета и говорит:

— Раз вы, гражданка, налог не платите, мы у вас будем имущество описывать!

А чего описывать? Дом уже и так для описи признан негодным.

Только все равно обробла Четвергова — за самоваром пришли! — поняла... Всю ночь нехорошие сны ей виделись.

Сначала обмануть хотела:

— Я ведь с ним только по воду хожу... — говорит.

А красная шапка взяла самовар со стола, кипяток под окошко вылила, чтобы легче нести, и пошла-пошла что есть мочи в сельсовет обратно.

Всю-то ночь старуха Четвергова проплакала. И поняла, что теперь она осталась совсем одна.

21

Стала томиться, в землю глядеть. Сядет на лавочку и глядит, глядит в землю: на то место, куда красная шапка кипяток из самовара вылила. То ли молится, то ли горюет, то ли смерть свою зовет — сама не знает.

Одумается — уже вечер, опять ничего не ела.

И все ближе от гнилого тына подступали к тому месту лопухи. Зеленым их пламенем точно занимался весь дворок.

А потом стала замечать, что она Марью Акиловну ждет. Вот та опять идет с поля. И всегда-то она веселая, глаза всегда смеются, голос звонкий. И работает еще — молодым не угнаться. А она, Четвергова, выйдет в поле, чуть внаклонку — и голова закружится, садись под куст на сырую землю. Да и глаза плохо видеть стали.

Издали, с дороги начинает говорить Марья Акиловна: что в поле делала, да нет ли от сына вестей — и то, что самой ей от мужа вестей тоже пока нет.

Хорошая она, эта Марья Акиловна. Из Финляндии приехала, не понравилось ей там: граница близко, убить могут, ежели война. Так она сама рассказывала.

Мужа посадили у нее, дали десять лет без права переписки — еще до того, как она из Финляндии уехала... Где он? Как он? Может, и не жив давно?

Но второй раз замуж Марья Акиловна выходить не собирается.

«Хватит, — говорит, — я и с одним намучилась.»

Глядит на Марью Акиловну старуха Четвергова, а слезы -то так сами и бегут, так и бегут.

А Марья Акиловна ударила себя крестом ладоней в грудь и говорит:

— Ты чего же это, дура, удумала, а? Чего же хоть ты в землю -то глядишь?

И молчит стоит, и глазами уже не на Четвергову, а на стену избы невидяще смотрит. Руки так у груди крест-накрест и оставлены. Губами еще пошевелила: хватит, мол, думу думать — и дернулись нити морщин, и до глаз движение их дошло, слезами глаза налились и, обрета зрение к внешнему миру, снова на Четвергову сострадано уставились.

И, наклоняясь, Марья Акиловна говорит слова — те самые, которые Четвергова вот уже лет десять ждет от кого-нибудь из людей:

— Да пойдем, дура, хоть у меня чаю попьем!

И вот уж хорошо стало старухе Четверговой, так хорошо, что отвалило все от сердца. Как в солнечном луче стоит — такие в церкви из-под купола в праздники спускаются. Вся стала словно облачком ладанным, душенькой легкой...

Многое она, увидев крест ладоней Марьи Акиловны, вспомнила, но язык с тал тяжелым, как замок на него повесили.

Так ничего и не ответила она Марье Акиловне.

— Тихо, тихо! — крикнула ей Марья Акиловна, как от дома по дощечке через лопушинную канаву перебираться они стали...

Попили чаю с картофельными колобушками горячим и. Марья Акиловна и говорит:

— Куда ты, дура, слепая -то пойдешь? Оставайся у меня!

Так и стали жить они вдвоем. Детей у Марьи Акиловны не было, не нажили с мужем. Марья Акиловна на работу уйдет — старуха Четвергова в избе останется. Глаза совсем плохие стали, а пол все-таки вымоет. А то стирать примется.

Придет, увидит Марья Акиловна, засмеется, закричит:

— Ну, не сидится тебе, старая, опять дрыбаешься?

И про мужа, про Веничку все рассказывала. Вот и френчик -то этот его, Венички. Все берегла, все ждала: вернется, оденет... А теперь уж...

И замолчит.

И снова уже по избе бегают, переставляет что-то с места на место. Надо, говорит, паспорт выхлопотать, да в город, в катальню на работу устроиться. Хлеба давать будут. А утром, до работы, в столовую сплавщикам воду, говорит, носить поряжусь. Тридцать пар до работы и тридцать — после.

А в Крещение гадать удумала...

— Что ты, Марья Акиловна, ведь мы не девки! — говорит старуха Четвергова.

А Марья Акиловна в ответ такое сказала, что старуха Четвергова от ко нфуза и головой, и руками затрясла. А внутренне — улыбнулась... Внешне-то она уже давно не улыбалась, не смеялась давно.

— У меня, Марья Акиловна, — говорит, — и глаза-то слепые. Я ничего не увижу... нет, не буду гадать... гадай ты...

А сама обробла вся. Ну, как ее Васятка не жив, и сейчас смерть его ей откроется?

— Нет, Марья Акиловна, ты одна гадай!

Льет Марья Акиловна яйцо в воду. Старуха Четвергова носом в стекло банки тычется — ничего не видит. Только какая-то темно-красная мошка-ра — червячки с крылышками — слепит и без того плохие глаза.

— Что, что такое там? — спрашивает.

Отставила банку Марья Акиловна.

— Гроб и крест. Опять гроб и крест, тетка Нина, — говорит.

— Спаси, Господи! — говорит старуха Четвергова. — Оборони Христос!

— Яйца-то жалко, — говорит Марья Акиловна. — Сколько я ни спрашивала, сколько я ни хлопотала — все один ответ: ваш муж осужден без права переписки... С ним все в порядке, мы знаем, где он сидит, но сказать права не имеем... Советуем вам больше не спрашивать, — заученно, точно по газетине, рассказывает Марья Акиловна.

И Четверговой советует:

— А твой-то сын где? Ты бы на розыск подала! У него право переписки оставлено. Не от матери же он скрывается?

25

Проходит некоторое время — письмоносец повестку несет Марье Акиловне. Ничего она Четверговой не сказала, собралась и ушла.

Осталась Четвергова в избе одна. И так ей плохо, так плохо: все нехорошее в голову лезет одно за другим. И глаза -то ведь уже почти ничего не видят.

Вдруг глядь — стоит перед ней Марья Акиловна.

— Ну вот, — говорит, — дождалась я...

А голос-то уж у ней не тот, совсем не тот.

— Не придет мой Веничка... И могилка где — не сказали...

И этак легко говорит, вольно:

— Реабилитировали.

«Что же это такое — либитировали?» — подумала Четвергова, но спросить не посмела. Только заплакала, так ей стало жалко Марью Акиловну. Потом уж слова родились:

— Убили, что ли — либитировали-то?

— Нет, это значит: всю вину с него сняли... Да я уж и сама знала, что не жив он, только горю выхода не давала. Все сны снились, что изрубили моего Веничку солдаты топорами... Френчик-то и отдала.

— И мне все рыба, все рыба снится, — плачет старуха Четвергова. — Может, и моего либитируют?

И не видит старуха Четвергова, что совсем девичьими и голубыми стали глаза у Марьи Акиловны.

«Твой-то сын — вор, а мой Веничка — неповинная душа!» — хотела сказать Марья Акиловна Четверговой. Но не сказала, только со стуком ударилась головой, прямо голубыми глазами о стол и замолчала.

— Марья, Марья, да что же ты молчишь? — отрывала от стола ее голову старуха Четвергова и громыхала, задевая ногой за тяжелую табуретку.

26

Все Марья Акиловна сделала: и написала, и охлопотала. Без нее Четверговой вовек бы не споровить дела: как ей, старой, сослепу -то?

— Подали на всесоюзный розыск — неужели сын от матери родной откажется? — говорит Марья Акиловна.

— Спасибо тебе. Спасибо, Марья Акиловна.

И глубоки, и высоки, и маревеют бесконечною синью небеса над Русью, и каждый лист, каждый знак, все, что есть зеленого на Руси — от игры солнечного марева слегка вздрагивает, улавливая дыхание Господа. И кажется, что Русь -земля взвешена в небе, взвешена в просторе — столь чутко каждый знак к простору неба тянется и простору неба дрожью своей отзывается.

Расцветали яблони и груши
По-плыли-и тума-а-ны над рекой!..

Это Марья Акиловна воду в столовую несет, поет, голубеет глазами, голубым светом морщины молодит, скрашивает.

Но не ладно поет — песня ее по берегу низко стелется, тяжелеет.

А в избе старуха Четвергова — тоже тяжело, низко пригибаясь к земле, ходит. Совсем уже ослепла почти.

И вдруг — что такое? — идет Пашка-письмоносец:

— Здесь Четвергова Нина Ивановна живет? — спрашивает, будто не знает, чей это дом.

— Здесь... — говорит Марья Акиловна.

— Вам перевод на две тысячи восемьсот рублей, — снова говорит Пашка-письмоносец, будто совсем незнакомый человек.

Старуха Четвергова подумала, что это не ей, даже и понимать не стала, что там Пашка говорит.

А Марья Акиловна как крикнет:

— Дура, сын-то у тебя нашелся! Две тысячи!

Ничего не сказала старуха Четвергова.

А Марья Акиловна деньги с письмоносцем начали считать. Раза три считали, переругались даже.

Потом карандаш вставили в пальцы старухе Четверговой и, нажав на пальцы ее, Марья Акиловна закорючку вывела. И толстую пачку ей в руку всунула, а сама стоит плачет.

А старуха Четвергова думает: «Чего же теперь я с этими деньгами делать -то буду?»

— Погодите, бабы, — говорит Пашка-письмоносец, — еще и письмо сын прислал. На, мать, бери...

И письмо ей отдали. Подержи свое, порадуйся.

Сначала письмо прочитала Марья Акиловна. Про себя. Читала долго, вышептывала. Раза три сказала: ну?

Старуха Четвергова за это время чуть с ума не сошла:

— Марья Акиловна, Марья Акиловна, — кричит, — не жив, что ли, Вася-то? Не жив? Ну, как и его либитировали?

— Так и есть, — говорит Марья Акиловна, — сын от матери родной отказывается.

— Что ты, Маша, говоришь такое? Как это он от меня отказать я может?

— Ничего, дура, не переживай, деньги на прокорм он тебе все равно высылать будет, по суду... Не переживай!

И стала читать вслух:

«Во первых строках моего письма шлю вам горячий привет с Колымы и шлю вам массу наилучших пожеланий. У нас на прииске недавно еще только растаял снег. Конечно, вы, может, и не представляете, что такое золотой прииск. Это такие места далекие, где мы добываем металл, то есть, золото для всей нашей большой страны. Живем мы здесь кум королю, в магазинах есть все, что твоя душа пожелает. Но я вынужден вас крепко огорчить. Посмотрите на мою фотографию внимательно: разве, гражданка, я ваш сын? Это в олпе напутали и записали меня Василием Федоровичем Четверговым. На самом деле я Ветров Иван Васильевич. О судьбе же вашего сына я ничего не знаю, и в глаза его не видывал. Посмотрите на фотографию, и вы сразу увидите. Я с седьмого года рождения, а ваш сын с семнадцатого года, то есть, вы, мамаша, глубоко ошибаетесь! У нас на Колыме такие случаи сплошь и рядом бывают. Напутает в формуляре какой-нибудь темнило из заключенных, а потом делай, что ты хочешь, писанину уж поправить нельзя, особый отдел не дает, все покрывается за давностью лет. Денег мне этих, мамаша, не жалко. Я сейчас работаю на шахте и получаю ничего. Но такое недоразумение меня сильно огорчает. Я убедительно прошу вас подать вторичное заявление в суд и освободить меня от алиментов.

С горячим колымским приветом Иван Ветров!»

30

— В сапогах?

— В сапогах! — говорит Марья Акиловна, — и кепку, как зимогор, на глаза насунул.

— Это, чтобы мать родная не узнала! — говорит старуха Четвергова. — Я сразу поняла, что это он, по письму видать.

— Он и есть, — говорит Марья Акиловна, — Покажи-ка мне старую-то фотографию...

И сидят, и толкуют старухи вечером после слез, по сле новых прочтений письма, и кричит одна другой, что надо ехать прямо на прииск и прямо при всем народе — там ведь тоже, милая моя, люди живут! — надеть на сына бессовестную харю. А еще лучше, снять штаны да чересседельником! И не смотреть, что он дядя — в жопу плюнуть не достанешь.

— И ничего, милая моя, не сделает! — кричит почти криком Марья Акиловна. — На мать руки не поднимет! На то она и мать!

— Так! Так! Марья Акиловна, спасибо тебе! — восклицает Четвергова и ерзает на табуретке от прихлынувшей вдруг, необычной для старческого ее тела энергии, и изливает энергию эту в слезы — уже в который раз! — и, внезапно стихнув, спрашивает:

— А что это такое — олп, Маша? Ты — ученая, наверно, знаешь?

А на фотографии, лежащей перед матерью на столе, у самой ее груди, стоит в сером, плохом свете человек в двубортном пиджаке, в брюках с напусками на сапоги; и кепочка у него совсем не насунута на глаза — наоборот, козырек кверху, и сам весь человек назад, на каменное место, заваливается, как бы для того, чтобы рассмотреть его было легче.

— Вот оно, лицо-то, вот!.. — говорит Марья Акиловна. И давит старуха Четвергова перстом на лицо того, кого она в горьких слезах считает своим сыном, давит холодным сухим перстом, мучаясь невидящими глазами, и в который уж раз твердит Марье Акиловне:

— Так и напиши ему, зимогору, так и напиши: неужели ты, милый Вася, мать на старости лет покинешь? Нет, сын, приезжай, посмотри на мать — она тебя вырастила!

На это материно письмо долго не было ни слуху, ни духу. Но день ги продолжали приходить. Наняла старуха Четвергова печника, печку в своем старом доме переложить.

— Куда ты, дура, торопишься? — говорит ей Марья Акиловна. — Разве тебе у меня плохо? Живи да живи.

— Не плохо, Марья Акиловна. Спасибо тебе, Марья Акиловна! Только свой дом — он ведь и есть свой дом!

— Ну хоть до весны у меня поживи!

— Спасибо тебе, Марья Акиловна. Летом найму людей дранку драть да крышу крыть надо...

Говорят в сельсовете Марье Акиловне:

— Ты сказала бы Четверговой, чтобы на заем под писалась. Куда ей, старухе! — а государству выгода. Ведь три тысячи!

А Марья Акиловна нагнулась к ним голубыми своими глазами и говорит:

— Да вы знаете, что для нее эти деньги значат! На заем? Да она их двенадцать лет ждала!

Так отрезала, что замолчали все, и сказать что, не знают.

Затеплилось в душе, заметались блики — и в тех бликах стало вымерцывать в душе разное...

Нестерпимо алый рябиновый куст, дрожащий холодно и тускло, как отражение этого куста в воде. Травянистый бугор над речкой с заколотившимися от ветрового приступа ромашками. Крапива — литая, точно выкованная из серебра. Стоит, играет горячими солнечными зайчиками.

Все это двадцать лет таилось в его памяти и теперь вспыхивало само собой. И своей отъединенной силой — удивляло, настораживало. Поддавшись воле самочинно возникающих образов, он тотчас же искал глазами то, что душа и память вдруг представляли ему. И не находил...

Рябин на межах глинистых полей, усаженных капустой и турпнепсом, не было. Да если бы и были, то — знает Нос — не такие они, не те — тех уж нет и не будет на земле... Да и были ли они вообще?

И крапивы тоже не будет такой. А другой, чужой — сколько угодно. Вот она, обочь дороги — колесами передавленная, грязная, как ветошь, которой солидол и масло трактористы с рук стирают...

Васька Нос поставил чемодан на дорогу, вынул пачку «Люкса». Вон уж и деревня завиднелась впереди. Закурил и бросил спичку в крапиву.

Во всей его внешности была видна нерешительность, он вдруг поднял резко лицо, будто кто-то сверху подсматривал за ним — а это было небо, высокое, с равномерно растворенными по всей своей глубине, холодными уже сентябрьскими лучами. Ничем небо не огораживалось по горизонту, ни сопкой, ни тайгой — всюду распахивалась его сосущая огромность и бесприютность какая-то. Так и стоял над крапивой, стряхивая седой пепел табака на листья, и больше не осматривался: хватит, посмотрелся. Еще машинально провел ладонью по нагрудному карману, где лежал паспорт на имя Василия Федоровича Четвергова. И, пристукивая пепел, редко тарантил носком хромового сапога, словно пробуя землю на плотность.

И вот уже решительно появляется над бугром кепочка-восьмиклинка его, с упругим картонным ободом внутри. Серьезное лицо, двубортный шевиотовый пиджак,

брюки с модным напуском. Ни разу в жизни у него такого дельного костюма не было — хорошо ему Спиридониха на прииске отпускной костюм сшила, постаралась.

Идет он да глядит то на деревню, то на ивы, что на самой околице. Что за ивы такие? Громобоина, что ли? Упали на землю, но уперлись в нее ветвями, увернулись, и снова вверх лезут руками — как на коленях у дороги стоят.

«Нет, не громобоина, — размышляет Васька Нос. — Это, наверно, огольцы подожгли, баловались. Сердцевина большая выгнила, а они все равно зелен еют... Видать, корой себе питание-то засасывают... Перекурить еще надо тут, у ив, подготовиться».

Он ставит сапог на ивовый ствол, почти утопленный в траве, елозит скользкой подметкой по усохшей, бугристой коре и стоит, смотрит на склубившиеся ветви, из -за которых уже виднеется бревенчатый угол избы.

— Не к Четверговой ли вы Нине Ивановне? — окликает его кто-то со спины.

Это — женщина, уже пожилая, а глаза — голубые, полные такой же голубой бесприютности, что сочится вокруг с полей, с неба... Только чуть потеплее эта женская бесприютность, точно она сама себя здесь, в глазах человеческих, осознала и из них жалуется.

— Сын, что ли, с Колымы приехал? — спрашивает его женщина.

— Нет, не сын, а так... знакомый, земляк, — отвечает Васька Нос.

Женщина глядит пристально на хромовые сапоги, на напуски брюк.

— Эвон, ее дом за Лавочкиными-то, иди, — говорит она. И, отворачиваясь, низко нагибается в быстрой ходьбе.

33

Отвисшая на петлях дверь из тонкого, некрашеного теса — отворена. Потоптался, постучался прахарями что есть мочи в зыблющиеся половицы крыльца, подбадриваясь...

— Это ты там, что ли, Марья Акиловна? — кричит кто-то из-за двери.

Не знает он, что и ответить, но — лезет в избу: чемодан в одной руке, сумка в другой, а дверь узкая — не пропускает его.

— Кто такой? Кто такой?! — кричат с печки. — Что там за дьявол шастает?

— Четвергова Нина Ивановна здесь живет?

— Здесь. А ты кто?

— А я к вам с Колымы! — кричит он тогда.

И видит, как в темноте заулка смотрит на него с печки старушечье — морщина на морщине — лицо, и две щелочки на том лице уже различает — томящиеся...

— Вася! Милый ты мой! Дождалась... — и упирается голова с печки подбородком в кирпичи.

— Да что ты, мамаша? Я ж тебе писал, что напутали!

Но старуха не слушает его. Не отрывая подбородка от кирпичей, мокреет лицом, в горле у нее что-то уркает, и плечи, выставясь выше головы, трясутся. Она плачет внутренним плачем, покуда вся душа и тело не закаменевают от этого плача. Не хватает у нее сил вытолкнуть плач этот из себя в избу.

Васька Нос сурово похаживает; прошел в горницу. При каждом урканьи он притопывает, точно желая раздавить ногой этот досадливый звук. Он думает: ничего, подожду говорить, пусть поотойдет... а то умрет еще, если сразу -то...

— Слезай, мамаша, хватит. Ведь живой ой...

И тоненько, равномерно, как вода из одной посуды в другую переливается — старуха начинает плакать вслух. Плач этот, почти без выражения, кажется Носу неживым.

Он заглядывает в заулочек. Старуха повисла одной ногой на кирпичном ребре печки, второй — трется по кирпичам, щупает воздух, ищет приступок. Она оттого и плачет, наверное, что слезть не может, вот и расстроилась, — думает Нос и подсобляет старухе спуститься в заулочек.

— Вася, ты? — говорит она. — Вася, где же ты двенадцать лет от матери родной скрывался?

— Не выпускали с Колымы, — говорит Васька Нос, — а почта туда, мамаша, не доходит из-за морозов.

— Батюшка ты мой! Сейчас я керосинку зажгу, картошки поставлю.

34

Старуха Четвергова перепугалась, думая, что Марья Акиловна стыдить сына начнет. А та все ходит по избе вприпрыжку и словно не свое говорит, а чужое городит. Три раза, не поленившись, до своей избы сбегала — стопки принесла, скатерть, грибов соленых, варенья. По дороге к Косте заглянула, пожалела безногого:

— Константин, приезжай к Четверговым. Зовут тебя! К ней сын с Колымы приехал...

Сам сын по некрашеным половицам похаживает, сапогами поскрипывает, то и дело спички чиркает, потухшую папиросу зажигает. Папиросы хорошие, душистые.

А день-то какой Бог дал! И не похоже, что осень: солнышко, небо шелковое, чистое, и два облачка на нем кремовые для красоты стоят.

Сел сын в передний угол, под иконы, ножницы точит.

— Вон как иступились! Чего же вы ими резали, ек тарна! — говорит.

Старуха Четвергова посунулась делать то, посунулась э то. А уж отвыкла столы собирать — столько денечков прожила, и все без просвета!

Один раз вышла в сени поплакать потихоньку у дверного косяка. Потом на куриц набросилась, изругала всех, как, бывало, покойный хозяин Федор Четвергов:

— Сухие ноги! Вам бы только корм клевать! А яиц не кладете!

— Мамаша, — кричит Вася, — чего ты там тасуешься? Иди за стол!

— Батюшка ты мой! — хотела вымолвить она, — дождалась: сын мать за стол зовет...

А сама не знает, как и к столу подойти — да еще и слепая-то!

— Костя, ек тарна! А я как увидел, думаю: ну, это ты, Костя, и есть! — кричит Нос в окно безногому, контуженному Косте. Трое только с фронта в деревню вернулись: двое целых и Костя, в восемнадцать лет парализованный. Его все на посиделки зовут. Как заиграет на гармонии, как запоеет: «Шли три героя...»

Вот уж и закурили: Костя — в тележке, на улице, Вася — в избе. Курят, через окно разговаривают. Дает Васька Нос Косте к себе привыкнуть, виду, что жалко ему Костю — не показывает.

Марья Акиловна идет, помогла Косте на костыли встать, на крыльцо взобраться. Потом гармошку с тележки принесла. Хотела было за столом речь, как до войны делали, сказать, да передумала: а чего я буду, может, ему и нелюбо это?

— А у нас на прииске картошка в кругах: сухая, прессованная. И свекла в кругах... Все в кругах. А как настоящую картошку привезут в ящиках, так весь прииск шумит, — говорит Васька Нос, разливая привезенный с собой спирт.

— И даже молоко мороженное в кругах якуты в магазин привозят. Ну, а остальное все есть. Колбаса, мясо-оленина, икра — ешь от пуза! Ананасы там в банках, груши, огурцы — чего твоя душа желает — не как у вас тут!

— Значит, — говорит Костя, — с жоривом у вас там неплохо, хоть и отдаленные вы места — Крайний Север...

— Да, — говорит Нос, — только я ничего не привез. Дорога-то какая! Три недели ехать... А по морю так и весь месяц... Эге, Марья Акиловна, ты мамаше -то разбавь, разбавь еще водой. А сама, смотри, как выпьешь, так сразу выдохни! Смотри, чтобы не в то горлышко не попало. У нас Диомидыч -то в бараке так сгорел от спирта. Прижался к

печке железной, да и сгорел. Стало ему кишки вертеть, ножик схватил и все пузо распорол, весь кишками умотался. Вся сушилка в крови была...

— Ну, Константин, выпьем за Родину! Выпьем за Сталина, как в песне поется. ..

— Выпьем и снова нальем, — насилу выговаривает Костя, протягивая вилку к грибам. — Уф, вона вас как там — спиртом поят!

— А без спирта, Константин, вся бы Колыма давно вымерзла. Но там ведь золото — не дадут.

— Да до скольких же градусов у вас бывают морозы? — спрашивает Марья Акиловна.

— До скольких? Да до шестидесяти градусов бывают! А раз в Оймяконе семьдесят четыре градуса показало, да никто нигде не записал. А говорил главный инженер, что это первое место в мире — семьдесят четыре градуса-то...

Тут Нос посмотрел на баб, улыбаячись. Мигнул Константину, и говорит:

— У нас и в уборную по одному из барака не ходят. Всегда по двое: один стоит - отливает, а другой ему палкой околачивает, чтобы не примерзало. Тут же, на лету замерзает! Во как!..

— Эхге-эхге-эхге! — засмеялся, как закашлялся, глубинным, завлекательным своим смехом Костя. — Не свисти! Свистишь ты! Эхге-эхге-эхге...

Марья Акиловна смеялась неслышно, сдержанно, ей казалось, что она летит. Только старуха Четвергова завсплескивала руками:

— Ой, Вася милый! Ой, Господи! Спаси Христос!..

Костя посунулся к «Люксу», закурил. Голубые, почти, как у Марьи Акиловны, глаза его — точно в них слез набежало — стали колко поблескивать. Уж и папироса у него потухла, а он не шевелился, точно ждал, пока глаза у него станут такими, что на них невозможно будет смотреть. И вот этот миг истомы сердечной, как огонь, охватил его. Неловко сграбастал он гармошку. Поставил на колени и — будто передумал играть.

Тогда Нос лоснящимися, не прозрачно-серыми, но так же остро, как у Кости, поигрывающими глазками, приободрил его: налил в стопки:

— Давай еще колонем по одной!

Шли-и три ге-роя-я

С не-мецкого боя-я

На финску-у границу воевать...

Вырвались задохнувшиеся от спирта слова из Костиной груди. И все черты лица Кости будто сместились: голубые дыры глаз распялились и точно отделились от лица, рот, с паутинками слюны на губах, поехал на сторону, будто ему невыносимо было выпускать из-за городьбы зубов тонкие, резкие звуки. И точно всему Костиному лицу захотелось переработаться в эти звуки, и что-то предсмертное — с самого дна души — было в этих звуках, которым было больно ударяться об углы и стены.

Старуха Четвергова вся сморщилась, и рот у нее открылся. А Марья Акиловна вдруг поддержала Костю:

А дома осталась

Жена молода-ая

И четверо ма-аленьких детей!..

И стала заламывать руки, разводить ими. Один раз даже старуху Четвергову толкнула, да та не заметила в плаче.

Васька Нос, растерявшись, сидел, ждуще на них поглядывая.

Но Костя, как только вступила Марья Акиловна, успокоился и стал даже удивленно, словно чего-то не понимая, вслушиваться в ее голос. Он точно не хотел потакать тому в песне, что сначала так заслепило его, и только когда вступила Марья Акиловна и взяла часть этой силы на себя — понял и освободился, и уже стал наседать на это, крушительное, готовое всего тебя опутать тенетами. И когда Марья Акиловна

дотягивала уже последнее, рыдучее, дрожливое, как осенний лист, слово, он вдруг, наседавая на нее побеждающим голосом, как новую песню, завел:

Шли-и-и три героя!..

И поглядел на всех свысока, весь выпрямившись — так, что Нос забыл, что перед ним безногий, и сам хрипло и дребезжаще влез в песню, но тут же крикнул:

— Давай еще по одной колонем! Тебя бы к нам дневальным в барак, дак ты бы у нас... Эх, ек тарна!

— Мы выпьем за Родину, выпьем за... — начал он, воодушевляясь. Ему представился родной барак, сушилка, где ставили бражку в бочке, дневальный Петруха Уголков, и начал он объяснять Косте, что золото, оно, как табак — мелкое, и не блестит, и что берут его вот так, как клопа да -вят! — и давил пальцем на хлебную крошку:

— Значок прилипнет, а ты его — ррраз, на бумажку. Восемь рублей восемьдесят копеек грамм!

— Если бы у меня были ноги... — начинал Костя, а на остальное у него сил уже не хватало, ослаб.

— Если бы у меня, Василий, не ноги!... Василий, если бы у меня не ноги!..

Костю повезла домой Марья Акиловна. Нос допил спирт и лег на кровать, и стало ему сразу же давить на грудь, будто землей засыпают, валунами забрасывают. Но тут же Нос понял, что это ему только так кажется. Нет — это лезет он из шурфа, а шурф — глубокий, темно — вот и кажется, что грунтом засыпало. И лестницы нет, — ругается он. И снова распоркой корячится к квадратику неба: плечами и ногами перебирая по срубам крепления. А внизу шнур, им запаленный, так и кипит! Сейчас как ухнет — так и разорвет всего, не соберешь потом.

Потом обливается Василий, лезет! И вдруг лицо — или тень чья-то? — загородила обозначившийся квадратик ясный... А уж недалеко. Эй, такая я мать! — заорал он. И осекся: лицо неясно черное и словно кровавое. И вот все ясней оно, сейчас совсем проступит...

И тут обрывается Нос в шурф. И просыпается, вздрагивая.

Пока убеждался он, что смерть только примерещилась, то и дело передергивало его всего: а не стоит ли над ним кто?

Нет, не стоит вроде. У образа Богородицы теплится слабенькая лампадка, но огонек только сам для себя трепещет, как звездочка, не видно ни лика, ни угла.

Вроде как кто-то шастает?

Во рту — кислеть и горечь, голова ходуном ходит... Покурить, что ли? Неслышно нащупал коробку с папиросами. Приоткрыл окно... сыро... дождь вроде моросит. Собаки воют. В темноте редкие огни мокро горят. Чувствуется ближе, чем он есть, лес сквозь темноту. И небо.

Замутило Носа от табака. Дал щелчка — падучей звездой по небу прочертил окурочек.

Спит, что ли, старуха — не разбудить бы... Где у нее вода? Не на шестке ли?

Ткнулся к печке да прямо и ткнулся в нее:

— Бабка, это ты?

— Я...

— Напугала как! Полуночица! Чего ты тут стоишь?

— На тебя, Вася, смотрю!

— Так ведь ночь! Глаз выткни.

— Я все равно слепая...

— Все чудишь, мамаша? Уж скоро пятнадцать лет, как Вася твой косоглазый в могиле! Неужели ты сына от чужого мужика не отличишь?

Ничего не говорит старуха.

Тут ей Нос все и расписал: и как сам он ее сына на расстрел послал, и как ножом ему пригрозил.

Однако — говорит, а как-то все не так выходит: словно он это про себя, словно он и убит.

— Вася, — говорит она, — неужели ты от матери родной, от старухи откажешься, неужели ты мать бросишь? Я ведь хоть и не вижу глазами, а по голосу слышу, что это ты, Вася... Я молилась -молилась, да и подоткнуло на тебя посмотреть... а ты еще застонал...

И заплакала.

«Толкуй мужик с пьяной бабой, — думает Нос. — Сейчас выпью воды и снова опьянею...»

— Ладно, мамаша, — говорит, — а где тут вода?

Старуха стала медленно подступать с ковшом воды. А вдруг она только притворяется, что слепая? И перепугался он, вспомнив сон. И вода заплескалась на пол.

35

На другой день Нос нанял мужика дранку драть. Баланы у старухи были уже заготовлены, и сама она не отходила от мужиков. Задористо крякали отдираемые свежие древесные слои под ножом. Четвергова суетилась, пыталась таскать дранку в сарайку. Чуть не упала, наступив на срубок жерди.

«Вот бы отец-то был жив — посмотрел. Я ведь знала, что приедет. Дума-ла — приедет, так вместе дранки надерем, зачем чужих нанимать?»

И опять рассказывала, как за пальто-демисезон, за свекровину кофту и за три пуда ржи купили они лесу; как дом сгорел старый, как еле успели маленького вытащить из огня. Как соседи Лавочкины дали икону на погорелое место. Жаль, что немного пожили. Теперь уж оба в земле.

— Какую икону-то?

— А Образ Нечаянной Радости Богородицы.

— А, — говорит Нос, — а у нас на Севере так ни икон, ни церквей нет...

Ходит по двору, тын поправляет, стучит топором по столбам:

— Сгнили столбы-то у тебя, ек тарна! Надо пасынки ставить, — говорит Четверговой. Да так весело, ласково.

Через неделю уехал, и больше его Четвергова никогда не видела. Не помогли ни запросы, ни Марья Акиловна.

А Васька Нос фукнул все отпускные, пока ехал до Владивостока, проиграл какому-то офицеру шевиотовый костюм в Усть-Нере и, прибыв на прииск в привычном для себя виде, сразу же пошел к уполномоченному.

36

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уполномоченному прииска Н.П. Кислову от крепильщика шахты Четвергова Василия Федоровича.

Сим уведомляю, что настоящая моя фамилия Ветров Иван Васильевич. Четвергов же Василий Федорович расстрелян в 194... году особым отделом. Будучи с ним в одной камере...

И дальше излагал Васька Нос суть «настоящего дела» и просил снять с него алименты на гражданку Ветрову, которой родным сыном он не является.

А потому он так осмелел, что давно знал: есть закон о давности преступления. Но сказал ему уполномоченный Кислов:

— Значит, ты утверждаешь, что ты не Четвергов, а Ветров? С седьмого года рождения? А знаешь ли ты, Четвергов или Ветров, или как там тебя еще, что в особом отделе не могут ошибаться? Подумал ли ты об этом, гражданин Ветров или Четвергов?

И смахнул со стола заявление:

— Паспорт — сдать! И беги отсюда дальше, скотинина!..

— Да как же мне совсем без паспорта жить? — начал было Васька Нос.

— Я тебе сказал, бандитская морда, чтобы ты мне на глаза на территории пр ииска больше не попадался! — закричал уполномоченный. — Пусть тот, кто подначил тебя это сделать, тот пусть и выдаст тебе документы!

37

В середине лета 195... года вышел Нос, довольно улыбаясь, из конторы на крыльцо, все укиданное окурками. Всегда он улыбался так — непонятно и дымчато, особенно когда выпивал спирта. Поэтому выражение его лица ничуть не удивило ни бухгалтера, старого, высокого латыша, повстречавшегося с ним в полутемном коридоре помещения, где сидело все приисковое начальство, ни бригадира плотников Зозулю, ни бурильщика Скорика, стоявших на крыльце и ожидавших зарплату.

— Ребята, покурить бы! Уши опухли! — сказал Нос и, взяв папироску, посмотрел на всех с таким видом, точно хотел сказать: ну, ребята, так что ж вы обо мне думаете?

А потом, отвернувшись от них, но выражением лица будучи еще с ними, помял папироску и пошел от конторы мимо дома Матросовых. Матросовы были несчастная семья, потому что дети у них были дурачками. Стар ший, Вася, как раз катил с визгом из-за поленицы дров свою железную тележку навстречу Носу: без нее он и ходить не мог. Пускает слюну Матросов Вася, вопит, подражая автомобилю, радуется: человек навстречу ему идет медленно, уж на этого-то он обязательно наедет! Глянул Васька Нос на Васю пристально, встал на месте и улыбается. Тележка наехала на керзачи Носа и скувырнулась, Вася упал с разгона ватным своим телом на каменистый, хоть бы травинка была, грунт. На плач и слезы выбежала мать из дому.

Васька Нос помог поднять сына Матросовой. Керзачи его застучали по деревянному мостку через болотный ручей и по укатанной, как бетон, трассе, разделяющей прииск на две стороны. Завернул в магазин за спиртом, потом, сойдя с трассы, за торфяным болотцем круто взлез на взгорбок, и когда ударили подметки керзачей по крупной гальке, выражение неопределенности стаяло с Васькиного лица и все ушло в то, чтобы уловить чекающие, грохающие звуки, напарывавшиеся на пространство. Он посматривал на белые, потрескавшиеся носа ке рзачей, как будто желал понять, значат ли что-то эти звуки, ведь как ты ни собирайся поставить ногу, галька под подметкой все равно подается. И выходит каждый шаг не так, как тебе хотелось.

Круто взлез он еще на один бугор, и вот уж перед ним на голом месте, у лесистого берега речки, стоит огороженный высоким забором дом лесника Доброжанского. Дом большой, с пристройками, с сарайками, с двумя собаками, Тобиком и Дружком. Они залаяли, но, узнав Носа, успокоились. Доброжанский, турок два с лишком метра высоты, вышел в калитку, поводя богатырскими плечами, улыбаясь и поглаживая лысину. Был он уже подпивши, а с Васькой добавили.

Вечером того же дня трое ребятишек лесника гоняли перед домом Васькину шапку-ушанку вместо мяча — он в ней и летом ходил. На одних воротах стоял Нос и все голы пропускал. На других — Доброжанский. Ему не забили ни одного. Ребятишки, как взрослые, смеялись над Васькой, кричали: «Эх, ты, старик!» И глядели на него свысока, гордясь, какой сильный у них отец. А лесник был старше Носа.

Потом снова пошли выпивать. Тут-то и сказал Нос леснику, что с шахты он уволился, года уже не те, а решил на свободе мыть золотишко лотком.

На другой день утром они вместе сходили и закупили в магазине тушенки в банках, а потом лоток заказали плотнику. А когда пропили последки Васькиного расчета, с рюкзаком за плечами и лотком под мышкой ушел Нос за подвесной мост, в распадок, где еще в войну участок был выработан. Там, у заваленных шахт и конусов отвалов, на местах

бывших промприборов обычно роются старатели, с кребком выцарапывая из лунок золотиносный синеватый ил и остатки грунта, не загребенного бульдозером на промывку, оброненого с вагонетки, с тачки, с лопаты.

Там, где шахты еще не закрыты, ближе к прииску, старателям ковыряться запрещено. А здесь, между двумя сопками, все уже затихло, здесь ржа доедает остатки железа и дерева, замятые в грунт. На подошве сопки лежит глыба кварца в человеческий обхват, пронизанная жилками и накрапами золота. «Пустое дело! Чтобы два грамма из такого кварца добыть, надо целый день кувалдой бухать», — говорят про нее старатели. К шумной речке прыгает меж серых каменных глыб изворотливый ручей, рушит в половодье в себя с берегов пласт за пластом. У ручья того стоит заброшенная караулка: тесовая, пепельная от старости крыша, рамы повыбиты, дверь на одной петле — к черному ее раствору, тяжело кланяясь сопке, взобрался Васька Нос.

В темном тепле караулки, исходящем от бревен и согнивших опилок завалинки, было еще что-то жилое, скат сопки вокруг полыхал иван-чаем выше человеческого роста. В этой избушке в войну стрелки отогревали у железной печки озябшие от автоматов руки, курили и снова шли на мороз, вниз, на участок, бояться людей, одетых в тряпье. Здесь, в караулке, и стал жить Васька, появляясь на прииске два раза в месяц: зол ото в кассу сдать да закупить продуктов.

38

Еще несколько лет прошло. Однажды, к середине июля, прогуляв деньги, полученные на прииске в золотой кассе, как называли домушку, где рассчитывались со старателями, едва поднялся Нос к своей караулке. Ему недомогалось, и такое было с ним не впервые. Не то, чтоб отымало силы, но расслабляло тоской, мешало доводить до конца все мысли.

Не переступив порога караулки, точно забыв что-то, токнул он деревянным днищем лотка о камни. Свалил с плеч рюкзак, тулуп, присел на него и пытливо, жалостливо уставился остренькими, тронутыми свинцовой мутью глазами на подвесной мост, по которому — хорошо сверху видать — шли трое ребятишек. Одним из них был я.

Одежда на Ваське была серого, выношенного цвета, сливалась с галькой, и когда он нас окликнул, мы вздрогнули от неожиданности: кто это?

— Идите, ребята, чего я вам покажу!

И достал из кармана тяжелый нож-складень, рукоять — лиса. Пересел с тулупа на поваленный, дряхлый столбик и, блеснув усмешкой глаз и зубов, начал сечь бок столбика ножиком:

Сека-сека-сеч-ку!
Высеку дощечку!
Сек-сек-пе-ре-сек!
Все-ше-стнад-цать
Я на-сек!

— Считайте — ровно шестнадцать!

Мы посчитали — точно, ровно шестнадцать.

— А дай нам! Сека-сека-сеч-ку... Чего-то не выходит!..

Засмеялся, зашелся неслышно. Задвигал под рыжиной шапки вихрастыми, серыми, как конский волос, бровями. Снова взял лису:

— Надо уметь! Хотите, научу?

— Нет, мы пойдем... Мы хотим с сопки на прииск посмотреть!

И мы пошли, наклоняясь, по каменной крутости и, бредя нав ерх, подпевали считалочку с ножом: «сека-сека-сеч-ку!..»

Некоторые пластины были в хрусткой, известковой седине ягеля. Легкие, хоть и каменные, точно минеральный состав их высушился на солнце. Ступишь на щербатый

край — кувырдаются, как тазики. Оглянулись мы — думали, далеко ушли, а нет: Нос — за спиной. И улыбка, и глаза его свинцовой своей мутью словно втягивали нас. Мы еще по пластинам, отстойкам, чурбанам, сковородам каменным попереступывали и, перед зеленой толпою стланика, — казалось, вот-вот он мягко покатится на нас сверху, — остановились. И еще раз оглянулись.

Каменная плешина выгнулась крутостью между нами и Васькой Носом, сглотила его — точно он по пояс в сопку ушел. Вот и совсем одна голова в истрепанной шапке - ушанке осталась: одно ухо вверх торчком, другое — вниз. Пластины отблескивали тускло и, под сильными лучами солнца, точно источали из себя серый каменный свет, и лицо Носа, будто размывалось в этом странном свете дыбом вставших камней.

Мы вшагнули в прохладу стланика и сразу забыли о Ваське Носе. Вон сидит матово-зеленая, с песчаной шеей кедровка, и плита под ней — вся в прозелени моховой, как в яри-медянке, не отличишь! Совсем рядом, лови! Она, наверное, раненая!..

А она уводила нас от гнезда, притворяясь неловкой, глупой курицей.

39

Котел долины был наполнен голубым, чистым воздухом, живым, как дыхание; солнечные лучи, дробясь по ближним сопкам, разбрызгами ниспадали вниз, и в разных местах точно взвешивались сияниями.

Когда мы подымались на сопку, то странно было видеть, как постепенно застывала, точно твердела бугорками волн река, и шум течения уже не достигал до нас. Изгибы реки на перекатах приобрели певучую плавность, протоки ветвились, дикие, поблескивающие кварцевыми песками островки расставились в русле. Деревья и кусты образовали подобие шествия людей в зеленых и темных длинных одеждах. Дальние, скалистые сопки стали, как из лазури, и снежными гранями всинивались в твердь. Домики прииска и серая змейка трассы приобрели вид случайный и необязательный. Как обломанные спички, торчали высоковольтные опоры и терялись на мягкой, жаркой рыжине болот и мхов. И теперь, вспоминая эту долину, я слышу как бы легкий запах тления, наносимый издали и быстро сменяющийся запахом меда и топящегося воска...

Там, в караулке, на полуразобранном полу Нос и смерть свою встретил. Здоровый, чернявый парень из Одессы, по кличке Амбал, пристукнул его, позарившись на двухнедельный намыв золота. Лежал Васька долго на вшивом тулупе: некому было вытащить — и вся плоть на нем истлела. И душа его поднялась по крутой сопке в черное небо, и там, в нездешнем распадке сошел он в маревко землистого света к знакомой избушке. И вышла встречать его на темное крыльцо горбатая старуха со смутным лицом, и сказала: «Ведь я твоя мать и есть, Ваня... Теперь узнал?»

И ему показалось, что это снится давно знакомый сон: уже не раз он стоял тут, у одинокой избушки — крыльцо свисает над обрывом, во тьму. Пусто, слабо, звездно мерцает ночь. Страшное, напряженное ожидание втягивает его на крыльцо, но вместо старухи появляется молодой женский образ: будто отделяется от ночи и звезд живыми тенями лицо. Таинственная, темноликая, отделяется от тьмы и все отделиться не может. Радость сверхъестественная охватывает провал мертвого сердца и, увязнув во внешней тьме, сгущается в охристый, шероховатый свет, которым давит от тритона — бугристо изогнувшегося рядом, на крыльце. И Ветров разом вспомнил свой далекий, земной сон о темноликой женщине: что муж у нее — тритон с коричневым кремнистым гребнем на спине, который ничем не пробить. И предвкушая сладострастно, как она освободится для него, жадно ударяет он тритона о крыльцо, и сам становится этим тритоном, ползущим куда-то в живую, женственную тьму, к ледяным звездам.

ПОЭЗИЯ



Николай Муренин

Повороты в пути

* * *

Диктаторы, вожди,
Кровавые кумиры...
Кислотные дожди,
Озоновые дыры,

Угасшие ростки,
Оборванные нити...
И громкое: распни!
И тихое: простите...

Открыты все пути
Навстречу страшным бедам.
Идея — впереди,
А смерть — за нею следом.

Не помнит человек,
Не видит и не слышит...
Который это век?
И кто его опишет?

Николай Владимирович Муренин родился в 1950 году в селе Макарово Саратовской области; в детстве жил на Северном Кавказе. В 1974 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, по распределению прибыл в Костромскую область, в поселок Красное-на-Волге. Работал инженером в «Сельхозтехнике», затем секретарем райкома ВЛКСМ. В 1979 году уехал в Москву, на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку «Олимпийский велотрек в Крылатском», где трудился начальником штаба стройки. Вернувшись в Кострому, стал работать в молодежной газете — сначала ответственным секретарем, затем главным редактором.

Работал заместителем редактора областной газеты «Северная правда», окончил отделение журналистики Московской Высшей партийной школы. В начале 90х гг. стал одним из создателей газеты «Костромские ведомости» и редактором приложения к ней — историко-краеведческого журнала «Костромская старина». Инициатор учреждения и главный редактор культурно-просветительского журнала «Губернский дом», который в декабре 2005 года отметит свое 13-летие. Член Всероссийского историко-родословного общества. За достижения в развитии культуры и искусства отмечен премией имени академика Д.Лихачева, медалью «За вклад в наследие народов России».

Много лет пишет и публикует стихи. Публиковался в журналах «Волга», «Юность», «Дон», «Русская провинция», столичных и региональных коллективных сборниках. Автор поэтических книг «Земная дорога» и «Автограф». Член Союза писателей России.

Живет в Костроме.

* * *

Взгляд тяжелый и шрам на виске —
Много лет протянулось в неволе...
И пошел он к бездонной реке,
И побрел он в широкое поле.

Только не было больше реки,
Только поле уже не родило.
Не встречались в селе мужики -
Всех нужда да бутылка сгубила.

Он, увидев такое, молчал.
Долго думал: за что эта плата?
А потом, словно зверь, зарычал,
А потом, как ребенок, заплакал.

И вернулся он ночью назад,
И угрюмо сказал часовому:
«Пропусти, я свободе не рад.
Не могу, видно, жить по-другому».

Удивленно смотрел часовой
На лицо, что белело во мраке.
А начальник качал головой
И подыскивал место в бараке.

* * *

От высоких деревьев и тихой воды
Выйдешь к месту, что миром забыто:
Отзвенели луга, отшумели сады,
И деревня крест-накрест забита.

Три избы на краю, как три свечи, стоят,
Три старухи в них дни доживают.
О своем говорят, никого не корят
И беды никому не желают.

Им бы хлебца купить, им бы мыла где взять,
Привезти бы обычной соломы.
А у нас — повороты крутые опять,
Коренные опять переломы.

Рубежи покоряли, к рекордам рвались,
За туманом бежали из дому...
А казалось бы, просто: живи и трудись,
И давай это делать другому.

Не могли? Не хотели? И вот он, итог.
Приходите сюда и глядите.
Век прогресса и здесь завершает виток —
Три избы на безмолвной орбите.

ОХОТА

В громкое время большого полета
Шла на земле нашей грешной охота.
Черная вьюга мела.
Каждый охотник другого боялся...
Главный же егерь смотрел и смеялся:
Линия верной была.

Он загибал свои крепкие пальцы:
Нынче — мучители, завтра — страдальцы,
Ловко охота велась.
Кадры решали, народец был занят.
Чем бы все кончилось — кто теперь знает...
Только война началась.

ПРАВИТЕЛЬ

Носил черный плащ, сапоги и очки.
Чернела, как плаха, папаха.
Он зренье утратил — ослабли зрачки
От власти и темного страха.

И слух потерял он от мрачных речей,
Терзая и мучая слово.
Не видел беды и печали ничьей,
Не слышал народа простого.

Была только ночь у него в голове.
Но сон ему как-то приснился,
Что, маленький, он на зеленой траве
С другими детьми веселился.

Как все, у прозрачного бегал ручья,
Где мог его каждый обидеть...
Дрожа, он проснулся и вызвал врача,
И стал свои сны ненавидеть.

А в них появлялись то мать, то отец,
То старая белая хата...
Но он не подумал, что это — конец,
Не понял, что это — расплата.

И с жизнью опять продолжал воевать,
И людям безумцем казался:
Вдруг солнцем намерился повелевать,
Вдруг ветром командовать взялся.

Тяжелая смерть к нему ночью пришла,
Ломала его и душила...
Наутро сказали: случайность была.
А это возмездие было.

Умолк его голос, коварен и лжив,
Рассыпалось брненное тело.
Но дух его мрачный по-прежнему жив.
И страшен. И в этом все дело.

* * *

Что ж это, в самом-то деле!
Так ведь вся жизнь и пройдет.
Вот и опять проглядели
Мы на реке ледоход.

Неба распахнутый ставень —
В зеркале талой воды...
Может быть, скоро не станет
Этой безумной вражды,

Этих сражений, в которых
Власть наступает на власть?
В громких бесчисленных спорах
Истина не родилась.

Как перед этою силой
Душу живой пронести?
Господи, всех нас помилуй!
Господи, всех нас прости!

ИКОНЫ

Ну, откуда эти лживость и страх?
Эх, дела вы наши худо-бедовые...
Сняли старые иконы в церквах,
В кабинетах повесили новые.

Так и тянем: недобор, недород...
Знай, однако, свой шесток и не жалуйся.
Только в старые ведь верил народ.
А кто — в новые? Скажите, пожалуйста.

ЕГОР

Знал он краткие годы реформ,
Помнил долгие годы репрессий...
«Не в коня, — говорил, — видно, корм,
Коль все меньше и хлеба, и песен».

Он работал, сидел, воевал,
Был уродован, ранен, контужен...
Только власть не совсем понимал,
И поэтому не был ей нужен.

В желтом доме теперь он живет
И приходит в себя понемногу.
Хлеб жует, в сводном хоре поет
И в окошко глядит на дорогу.

* * *

Устал от скитаний, и осень домой привела
Его на рассвете.
Вернулся, но поздно — жена уж давно умерла,
Уехали дети.

Не знал он об этом, и возле дверей повторял:
- Поверьте мне, люди...
Но дом был безмолвен, а ветер лишь листья швырял,
Как деньги — Иуде.

НАРОД

Без остановок на постой
Уже который год
Народ великий и простой
По пустоши идет.

Следы горячего песка
В глазах и на устах.
Назад оглянется — тоска,
Вперед посмотрит — страх.

Мечтал о будущем ином,
Но оказалось — зря.
По жизни шел с поводырем —
И нет поводыря.

И вот опять один во мгле
Несет с собой свой грех.
Он так велик, что на земле
Беспомощнее всех.

Слезу уронит со щеки,
О пройденном скорбя,
И сам себя не защитит
От самого себя.

* * *

Нарядный лес. Прозрачный воздух.
И вроде б можно полагать,
Что ничего еще не поздно,
Что жизнь, конечно, благодать.

Природа осени послушна.
Такой, куда ни глянешь, вид,
Что сердцу радоваться нужно...
Но почему оно болит?

Так декорация на сцене
Красива — радуйся сиди.
Но кто предвидит и оценит,
Какая драма впереди?

ГОЛОС

Случилось это на одной из дальних станций,
Где в ожидании последнего такси
Я повстречал загадочного старца —
Он проводить просил.

Мне было некогда, к тому же дождь и полночь.
И, видя то, что я с ним ехать не хочу,
Он мне сказал: «Вам Бог воздаст за помощь,
Я ж — заплачу».

Не смог я отказать, и скоро мы сидели
В каком-то доме, где он очень странно жил.
Я все хотел уйти, мне думалось о деле,
Но он не разрешил.

Он вопрошал про быт, про нравы, про карьеру,
О чем болит душа, что в сердце берегу...
И вдруг: «А можешь умереть за истину и веру?»
А я в ответ: «Могу!»

Старик зажег свечу и к двери повернулся,
Ударил посохом, меня перекрестил.
Вбежали слуги, и я в страхе содрогнулся —
Он не шутил.

Он им сказал: «Сей праведник презрел недуги
И хочет смерть принять за мир и красоту.
Распять его!» Меня схватили слуги
И повели к кресту.

Я вырывался и кричал, но старец был спокоен,
О чем-то думая. И громко молвил вдруг:
«Оставьте все, он этой смерти недостоин...»
И выгнал слуг.

А мне сказал: «Ты в мире жил неправедно и ложно,
Легко давал слова, легко словам внимал.
Не знал, что есть народ, и жизни его сложной
Не понимал.

Зачем тогда нужны и молодость, и сила?
Кому тогда любить, кому тогда страдать?
Не примет тебя крест, а ждет в лесу осина...»
Я стал рыдать.

А он уже смотрел своим горящим глазом
Во тьму совсем иных и судеб, и времен.
Но вдруг пропало все, и понял я не сразу,
Что это сон.

Но был ли это сон? Я и сейчас их вижу —
Осины да кресты. Где истина? Что ложь?
И слышу голос тот, он с каждым днем все ближе:
ЗАЧЕМ ЖИВЕШЬ?

* * *

В старом саду все прозрачней и тише.
Листья погасли, поникла трава.
Молча стою я — и, кажется, слышу
Ваше дыханье и ваши слова.

Есть вы на свете — и в этом отрада,
В этом надежда и смысл бытия.
Поздняя ягода грустного сада,
Самая горькая радость моя.

* * *

Пахнут вербы, летят облака...
Погадай на судьбу мне немного.
Что там выйдет потом? А пока —
Интерес, разговор и дорога.

На звенящем весеннем ветру —
Эти волосы, губы, ладони...
Молодая звезда поутру
На высоком зажглась небосклоне.

* * *

Солнце в луга опускалось,
Вечер был ясен и тих.
Милая, сколько осталось
Дней нам с тобой на двоих?

Сколько — обычной свободы?
Сколько — простого тепла?..
Все эти долгие годы
Где ты, родная, была?

* * *

Как это выйти смогло?
Сколько такое продлится?
Не опускайте крыло,
Добрая белая птица.

Я не нарушу покой
Вашего тихого крова.
Боже мой, день-то какой —
Смотрит светло и сурово.

Радость, тревога, беда?
Город притих в позолоте.
Я не приду никогда,
Если вы не позовете.

Я в стороне постою,
Если вы так захотите...
Пойте же песню свою,
Вольно по свету летите.

* * *

В день отлета в птиц порой стреляют.
А они к нам снова прилетают —
И журавль, и крохотная птаха...
Все-таки любовь сильнее страха.

ПРОЩАНИЕ

Лица коснуться твоего
Печальным взглядом.
На время малое всего
Остаться рядом.

Уйти на несколько минут
В ладони эти —
Последний, может быть, приют
На белом свете...

* * *

Этой дорогой ходили не раз,
До мелочей все знакомо.
Маленький мальчик, похожий на вас,
Встретится мне возле дома.

Мимо пройти бы... Я здесь не живу.
Что может быть между нами?
Остановлюсь. Одуванчик сорву.
«Милый, отдай своей маме.

Скажешь ей... Впрочем, не надо, иди». —
Ишь, как взглянул любопытно.
Что-то опять защемило в груди...
Буря магнитная, видно.

ПИСЬМО

Если вас спросят: «Забыли о нем?» —
Не торопитесь с ответом.
Он-то вас помнил и ночью, и днем.
Кто теперь знает об этом?..

Если вам скажут: «Не стоил гроша», —
Верить такому не смейте.
Думал о вас он, дрожала душа
Между любовью и смертью.

Сумерки сзади, туман впереди —
Не разглядеть на полметра.
Тихая нежность коснулась груди,
Как дуновение ветра.

Тихая нежность, прощальный поклон...
Так уж назначено свыше.
Что-то сказал вам печальное он,
Только ответ не услышал.

* * *

Осталось не больше недели —
В семье ожидали беду.
А бабушка с внучкой сидели,
Обнявшись, в больничном саду.

Был голос старушки негромок
И, все понимая сама,
Смотрела она, как ребенок,
На травы, деревья, дома...

А девочка молча следила,
Как в небе кружит воронье.
И что-то недетское было
Во взгляде печальном ее.

* * *

С каждым днем темней земля,
Речки говор глуше.
Крик прощальный журавля
Отрезвляет душу.

И в одном из дальних сел —
Сколько лет уплыло! —
Вдруг поймешь: святое все,
Что обычным было.

И опять, опять, опять
С чувствами не сладить:
Иву старую — обнять,
Юный куст — погладить...

* * *

Просидев на заре, над рекой целый час терпеливо,
Я боюсь одного:
Соловей закачался на розовом прутике ивы —
Не спугнуть бы его.

Изумилась душа, и ребенком счастливым проснулась.
Для кого он так пел?
В камышовых сетях красноперое солнце плеснулось.
Соловей улетел.

Листья ивы, как ноты, на лучике света повисли.
И уж после того,
Незаметно совсем, село слово на веточке мысли —
Не спугнуть бы его.

ПОЭЗИЯ



Тамара Пирогова

Свет в конце дорог

ПЕРЕД ДОЖДЕМ

Цветы открытыми глазами
Глядят в холодный небосвод...
Сейчас тяжелыми слезами
Слепая туча изойдет,
Сейчас им будет знобко, больно,
Сейчас им будет так темно...
Но учат нас они невольно
Раскрыться жизни все равно.

* * *

Тихо-тихо плачут голоса
О любви высокой, о печали.
И сияют кровь и бирюза
На воздушном светлом покрывале.

Согревают свечи полумрак,
Взоры поднимаются все выше.
Где-то там, в неведомых мирах
Все молитвы наши Бог услышит.

Исповедь, причастие, алтарь –
Дух народа, вечности опора...
Божий лик прекрасен, как и встарь,
И в глазах – ни капельки укора.

Тамара Алексеевна Пирогова родилась в 1947 году в Рыбинске, после окончания школы трудилась в родном городе на моторостроительном и приборостроительном заводах – монтажницей, сборщицей, гальваником, архивариусом, сотрудником заводского радио. Затем работала корреспондентом и редактором заводской газеты. Окончив в 1988 году факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, работала в рыбинских газетах, в 2000-м году переехала в Ярославль, где продолжила сотрудничество с рядом областных изданий.

Стихи пишет с 14 лет, публикуется в местной прессе с конца 70-х годов, первая столичная публикация – в журнале «Студенческий меридиан» (1984 год). В 1990 году опубликовала в Ярославле первую книгу «Любви и боли непокой», затем в Ярославле и Рыбинске увидели свет еще шесть книг ее стихотворений. В 90-х годах руководила рыбинским городским литературным объединением имени Н.Якушева.

Живет в Ярославле.

© Тамара Пирогова, 2005.

* * *

Сегодня ветрено в природе...
В ней что-то дышит тяжело
И слов искомых не находит,
И бьется веткой о стекло.
И пыль клубится на дороге,
И облака спешат вразлет.
Весь мир – в таинственной тревоге,
Но я-то знаю: все пройдет.
Исчезнут тучи, глянет солнце
И в травах ветер замолчит.
...Но как испуганно в оконце
Мне ветка яблони стучит!

* * *

Это ветер в городе гуляет –
Иль незримый буйствует боксер?
Фонари на улицах сбивает
И крушит то крышу, то забор.
Мчится он рассерженно по саду –
И взлетают листья до небес...
То ли осень близится к закату,
То ли мир в земной душе исчез.

* * *

Лето прошло. Непогода опять.
Холодно, сыро и слякоть.
Без толку хмурое время ругать,
Надо природе поплакать,
Вспомнить потери утраченных дней,
То, что свершить не успела.
Я посочувствую горестно ей:
Да, красота отгорела.
Надо готовиться к близкой зиме,
Песенка, кажется, спета...
Но не сгорает в полуночной тьме
Знойная звездочка лета!

* * *

Кончилось время смешков и пародий,
Стала золой золотая листва.
Ветер холодный по улицам бродит –
И остывают земля и слова.
В мире все тише, мрачней и тревожней,
В зимнюю заметь уводят следы.
Там, прижимая к ветвям осторожно
Новые почки, притихли сады...

* * *

Вдруг поняла среди спора:
Берег – опора мосту,
Лес – поднебесью опора,
Церковь – опора кресту.
Зло подпирается ложью,
Ненависть к миру тая.
Всюду и всем есть подножье...
Где же опора моя?

* * *

Зима придет неожиданно
На землю колдовать
И превратит поляны
В пуховую кровать.
Весь мир уснет безгрешно
До будущей весны.
И будут мне, мятежной,
Иные сниться сны...

* * *

Какие пышные снега
Легли на зябнущие дали!
Искрятся белые луга,
Овраги сказочными стали.
На месте грязном, неживом
Возникла явь земного рая –
Как будто добрым божеством
Изменено обличье края.
Волшебный свет сошел на нас,
Смиренной радостью блистая,
И красотой нам души спас...
Приди к нам, вера пресвятая!

* * *

Снег падает вниз отважно...
А что на земле его ждет?
Топчет его здесь каждый
И превращает в лед.

Но вновь, как в старинной сказке,
Вершит весна чудеса,
И вновь от солнечной ласки
Взлетает снег в небеса.

И вновь распевает птица
В промытых дождем мирах.
...Вот так же душа стремится
Сквозь беды пройти, сквозь страх.

* * *

Белая дорога.
Светится окно.
Там светло и строго
Ждут меня давно.

Крутит заголошно
Вьюга белый стяг.
Но горит окошко
Сквозь метель и мрак.

Путь мой нескончаем,
След мой замело.
Но меня встречают —
На душе тепло.

Ни судьба, ни ветер
Не повалят с ног,
Если есть на свете
Свет в конце дорог.

* * *

Вечер. Вновь зима пуржит,
Злится, суетится.
Снег летает, мельтешит,
Замертво ложится.
Утро. Каждый угол чист,
Сказка явью стала.
Вся природа – новый лист.
Жить пора сначала!

* * *

В природе есть чему учиться:
Снега растают в свой черед
И в свой черед нагрянут птицы...
Но до поры – повсюду лед!

* * *

Белый сад. Предчувствие весны.
Гулко голоса звучат в аллее.
Звонкие березовые сны
На сугробах искорками тлеют.
Собираю искры на снегу,
Снам холодным доверяю снова...
Я мгновенья эти сберегу,
Воплощу в земную сказку слова.

* * *

Спускался белый снег с небес
Торжественно и тихо
На близкий дом, на дальний лес...
Божественная прихоть!
Небес немая благодать
Ложилась мне на плечи,
И мне хотелось снегом стать –
Лететь в твой день и вечер...

* * *

Я буду мечтать о весне,
А значит, мечтать о России...
Так жаждал Израиль во сне
Земного явления мессии.
И я жду чудесную весть –
Что Бог нас вовек не забудет,
Что время земле нашей – цвeсть,
Что страшного часа – не будет...

* * *

Весна врывается в сердца,
Жизнь изменяя круто.
И маска зимнего лица
Оттаивает будто.
Иду походкой озорной
Через ручьи и лужи
И верю: будет жизнь иной...
Но лучше или хуже?

* * *

Облака протянулись раздольно,
Нежной дымкою скрыт небосклон...
И душа встрепенулась неволью,
Вспомнив радости прежних времен.
Вновь вернулись былые надежды,
Засияла трава на лугу...
Я не буду такою, как прежде,
Но любимую быть я смогу!

* * *

Летают ласточки на воле...
О, как стремителен полет!
Как ясно небо, где без боли
Душа свободная живет!
И с высоты ей голос слышен,
Тот голос, что земли древней:
– Лети над полем, и над крышей,
И над крестом судьбы своей!..

* * *

Опять навстречу бабочка летит...
Узор полета легок и беспечен
И взгляд за ним никак не уследит –
Он вьется, как поток бессвязной речи.
Так мы летим на легких крыльях фраз,
Меня непрерывно направленья.
А жизнь и смерть выслушивают нас
И отмеряют краткие мгновенья...

* * *

Сияло небо голубое,
Легко парили облака
И ворковали меж собою
Два сизокрылых голубка.
И зеленели кроны ярко,
И тихо радовалась я:
Нет в мире лучшего подарка,
Чем наша вечная Земля!

* * *

Не надо думать ни о чем!
Мне думать ни о чем не надо!
Об этом шепчет за ручьем
Листва темнеющего сада.
Об этом шепчет мне вода,
Что на волнах качает звезды...
И смотрит в душу мне звезда,
И дышит музыкою воздух.



Людмила Лад

Вот такое мое сердце

* * *

Опять за речкой синеглазой,
Проснувшись, солнышко взошло.
Там, в той сторонке, что за лесом,
Есть белорусское село.

Там дом, там корни моей мамы
И непростого детства дни...
Там, не боясь тяжелых будней,
Живет деревня Ступени.

* * *

Мой дед плел лапти
И в этом деле
Был бесподобен.

Наряд не ахти.
Но как удобен!

Корзины делал
Из тонкой вербы
Не для наживы.

Давно нет деда.
А вещи живы.

Людмила Лад родилась в 1949 году в белорусском городе Бобруйске, окончила там медицинское училище, работала медсестрой в детской больнице. Переехав в Ленинград, работала там в поликлинике, а затем в институте токсикологии. В 1992 году переехала в город Шуя Ивановской области. Окончила Шуйский педагогический университет. В настоящее время работает документоведом на одной из кафедр этого вуза.

Стихи начала писать в середине 90-х годов прошлого столетия. Печаталась в местной периодике и коллективных сборниках. В 2002-2005 гг. вышли в свет шесть книг ее стихотворений.
Живет в Шуе.

* * *

Нещадное солнце. Жара. Духота.
Пруды зарастают осокой и тиной.
В ручьях пересохших исчезла вода,
Сомлевшее лето лежит под малиной.

И каждый цветок, каждый лист, каждый плод,
Томимые жаждою, ждут-не дождутся,
Когда потемнеет от туч небосвод
И ливни на землю сухую прольются.

Но солнце нещадно палит. Духота.
Пруды обмелели, затянуты тиной.
Все сохнет, все вянет кругом... Неспроста
Сомлевшее лето лежит под малиной.

* * *

Какая-то музыка, давняя-давняя,
В мозгу моем крутится, крутится, крутится я.
И я напеваю слова стародавние:
- Ой утица ты моя, утица, утица...

И жалость какая-то, давняя-давняя,
В душе пробудилась. И даже мне чудится,
Что бабка так пела в года стародавние:
- Ой утица ты моя, утица, утица...

* * *

Обнажив свои круглые плечи и груди
И подставив под дождь их, как будто под душ,
Я плясала, как девочка юная, в луже,
И коса за спиной извивалась, как уж.

За высоким забором на старенькой даче,
Не боясь быть порочною в чьих-то глазах,
Я плясала, светясь непонятным мне счастьем,
Изгибаясь, как будто под ветром лоза.

Не пытаясь играть, иль устраивать шоу,
Я без капли смущенья, ничуть не стыдясь,
Покоряясь какому-то древнему зову,
Каждой клеточкой тела дождю отдалась.

* * *

Не трогай чувственность мою,
Не пробуждай ее, не надо.
Не зазывай в судьбу свою
Огнем пленительного взгляда.
Не обещавай любви и роз,
Ночей безумных, ласк до дрожи...
Ответь лишь только на вопрос:
А ты и вправду это можешь?

* * *

Я не стыжусь, что обнажились плечи
И грудь внезапно приоткрылась вам,
Я не стыжусь, что вспыхнули, как свечи,
Огни в глазах, что сладко по ногам
Прошелся жар, почти что нестерпимый,
Что стон из уст предательски слетел...
Я не стыжусь желанья быть любимой,
Я жадно жду слиянья наших тел.

* * *

Он уходит. Ты нервно молчишь.
Лишь рука, осознав, что и как,
По велению кричащей души
Ухватилась за светлый пиджак.

А вот гордость, забыв все слова,
Отказалась ему возражать.
В этом гордость, наверно, права...
Что же пальцы никак не разжать?

* * *

Борис! — зову я, а ты молчишь.
Борис! — с ресницы слезинка вниз.
Борис! — и вдруг, разрывая тишь,
Чирикнул средь веток чиж.

Борис! — росники зарей зажглись.
Борис! — хлеба зерном налились.
Борис! — и травы рванулись ввысь,
Как будто отозвались.

Борис! — луч солнца погладил лист.
Борис! — зацвел под окном ирис.
Борис! — все нити оборвались...
Прости этот зов, Борис!

* * *

Поверь:
та боль,
что в крик кричит —
хоть тяжела,
но с ней
чуть легче,
чем с той,
котор ая молчит
и в землю
втягивает
пле чи.

* * *

Вечер тает, оплывая
Воском тоненькой свечи.
За окном неутомимо
Громкий счет ведут грачи.
Не боясь дождей и хляби,
Ночь крадется вдоль окон...
Тихо путаются мысли
И глаза туманит сон.

* * *

Трещит на улице мороз,
А я несу букет мимоз,
А я несу домой цветы.
Но подарил мне их не ты.

Я дома всем скажу, что ты
При встрече даришь мне цветы,
Что я любима... Но мороз
Уже добрался до мимоз.

* * *

Вот ты умеешь с Богом говорить
И знаешь все молитвы и заветы.
Давно меж вами неразрывна нить,
Он много раз давал тебе советы.

Не оттого ль ты праведна всегда
И жизнь твоя легка и безмятежна?
А мне с самой собой — одна беда...
Неужто я и вправду безнадежна?

Порой могу такое заварить,
Что всем кажусь безнравственной и жуткой.
А ты умеешь с Богом говорить...
Узнай: как стать мне сдержанной и чуткой?

* * *

По горсточке, по горсточке,
По капельке, по крошечке
Я соберу все горести —
И сброшу с края пропасти.

Пусть катятся, пусть сыпятся,
Пусть бездною насытятся,
Пусть в прах они развеются...
Спаستись пусть не надеются!

* * *

Любая горная река
Смела, шумлива и прекрасна,
И резво лижет берега,
Пусть вскользь, но яростно и страстно.

А вот равнинная река —
Тиха, спокойна и неспешна.
И гладит, гладит берега
Совсем невинно и безгрешно.

Так вот и я на склоне лет
С рекой равнинной чем-то схожа...
А ведь была, в том спору нет,
Во всем на горную похожа!



Василий Смирнов

«Милые дети, прощайте, я ухожу на войну»

Дневник рыбинского приказчика
1911-1917 гг.

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Эту толстую фиолетовую тетрадь с тиснением на обложке «Дневник» я помню с детства. Скорее всего, она хранилась в нашей семье с 1946-47 гг., попав сюда после смерти автора дневника, моего деда по отцовской линии Василия Гавриловича Смирнова. Это случилось еще до моего рождения. Много позже, уже будучи взрослым, я прочитал дневник, удивившись грамотности написанного — ведь систематического образования мой дед не получил. Скорее всего, его явные литературные способности следует отнести на счет прочитанных в детстве и юности книг.

Василий Гаврилович родился в деревне Боброво Леонтьевской волости Мологского уезда в 1881 году, десяти лет отроду был отдан в мальчики в кожевную лавку, раб отал на пристани, затем приказчиком в лавке, с 1904 года числился мещанином г. Рыбинска. В январе 1917 года был призван в армию, но осенью того же года уволен с воинской службы (был белобилетником). После Октябрьского переворота работал бухгалтером в Рыбинске, скончался во время Великой Отечественной войны. Такова вкратце биография деда. По воспоминаниям моего отца и теток, был он человеком с норовом, любил показать себя, да это и по дневнику видно. В нашей семье рассказывали случай, который в дневнике не отражен: заработав как-то приличную сумму денег, Василий Гаврилович сел в пролетку и, велев кучеру трогать, начал на полном ходу разбрасывать по сторонам серебряные рублики — а бабушка, его жена, со слезами бежала следом, пытаясь хоть что-то подобрать. Знаю я еще, что бабушка не работала (четверо детей!), что в доме было пианино...

Мне думается, публикуемые записи имеют не только узкосемейное значение; дневник моего деда — интересный документ эпохи. Читатель, привыкший к мемуарам людей, относящихся к «высшему свету» российского общества дооктябрьских времен, может стать, впервые столкнется с дневником рядового обывателя, жителя купеческого города. Размышления рыбинского приказчика о жизни, его оценки происходящего отражают умонастроения эпохи, о которой мы сегодня читаем и слышим так много противоречивого.

Важной частью дневника являются стихи деда. Судя по всему, поэтом он себя не считал, просто кое-что рифмовал под Некрасова, Сурикова, Трефолева. Но и эти зарифмованные бытовые и пейзажные зарисовки по-своему интересны, в них отразился быт семьи, настроения автора.

После 1917 года в тетради сделано лишь несколько кратких записей — о смерти бабушки, о втором браке деда. Жаль, конечно, что Василий Гаврилович практически перестал вести свой дневник. Но и понять деда мне нетрудно — наступившие времена были не просто «трудноваты для пера», а попросту опасны... Я имею в виду — для искренного пера.

Владимир Смирнов.

*С начала первых дней пишу я беспристрастно...
Зачем родился я? Все думаю напрасно!*

Я родился 1881 г., 26 января, в день именин моей дорогой матери, которая и померла спустя ровно четыре года, следовательно, я остался без матери четырех лет и был предоставлен на попечение отцу и бабушке Дарье, крестной моего отца.

Конечно, среди деревенских товарищей и забав детства время шло незаметно. Потом меня стали приучать к работам — косить, жать, молотить и прочее. Все это в возрасте до десяти лет. Но, к моему сожалению, почему-то во время экзамена из-за крестьянских работ меня позабыли отпустить в школу учиться грамоте, что для мальчика является первой необходимостью. Но все-таки кой-как научили меня дома разбирать буквы, делать склады и выводить каракули. А остальное мне пришлось заимствовать у своих товарищей, которые ходили в школу...

Жизнь моя за эти годы была незавидна. Никто меня не приласкал, не пожалел и не приветил, да притом и отец мой был очень строгий. Нередко за малейший детский проступок ставил меня на колени, но не обходилось дело и без плетки, которая для меня была нежелательна.

Конечно, со всем этим я смирился, как будто так и следует.

Вот мне минуло от роду десять лет, и детство в сторону. Отец свез меня в город Мологу и отдал в мальчики в кожевенную лавку Павла Павловича Кузнецова сроком на четыре года с половиной.

1891 г., сентября 8 дня. Как сейчас помню, подвел меня отец мой к хозяйке и говорит: «Вот я вам мальчика привез». Я снял с головы шапку и почтительно, просто по-детски поклонился своей будущей покровительнице. Оставил меня отец, строго наказав: «Живи, старайся, слушайся, но об доме и шалостях забудь думать».

Первое время мне жилось очень хорошо, пока привыкал к делу и торговле. Но как только узнал дело, значит, прибыло заботы и побоев от молодого хозяина Алеши. Он, бывало, рассердится на свою жену и давай меня колотить по чему попало. Что делать, жаловаться было некому и плакать от полученных побоев было нельзя.

Прошло полтора года моей службы, как неожиданно для меня умер мой отец. Значит, рухнула моя последняя надежда защиты моего детства, и с того времени я был предоставлен самому себе.

Служу, стараюсь, терплю, переношу всевозможные лишения, побои, ругань и так далее. Сделался ловким, бойким и веселым мальчиком, получил от хозяев доверие и внимание и стал знать хорошо свое дело!

Прошло всей службы три года и два месяца, была холодная, но сырая осень. Послали меня на пароходе по делам торговли. Одежда и обувь были у меня хозяйские, а сапоги были у меня далеко не твердые. На земле было на четверть аршина сырого снега и воды. Начерпал я сапоги и сразу же почувствовал, что дело неладно, но боялся сказать хозяевам. Пришел в лавку, разулся, выжал свои портянки и опять надел их же.

Погода была очень скверная, лавка холодная, стоять еще было долго, то есть с обеда до вечера. Вот тут-то я и простудился. Когда заперли лавку и пришли домой, то вместо чаепития и ужина предпочел забраться на печь, которая к моим услугам была теплая. Не успел хорошо поместиться, как вдруг почувствовал страшный озноб и жар.

Обо мне, конечно, доложили хозяевам и около 12 часов ночи меня отправили в больницу, где и констатировали воспаление легких. Одели на меня больничное платье, уложили на кровать, поставили градусник — жару 42 градуса. Потом я впал в бессознание и не знаю, что было. Только опомнился и вижу: у меня на левом боку банки, которых было 14 (сухих). Благодаря их, я стал дышать гораздо легче. Пролежав шесть дней, я чувствовал себя не очень хорошо, но когда произошел кризис болезни к лучшему, то благодаря Бога стало лучше. Пролежал всего 13 дней — и, должно быть, из чувства

человеколюбия или для оказания медвежьей услуги, ко мне приехал из деревни мой родной брат и пригласил меня для дальнейшего выздоровления в деревню.

Прошусь я на выписку, едем к моим хозяевам для разрешения мне каникул. Они, конечно, меня отпустили, снабдив меня новой шубой, валенками и бельем, наказав брату — как только я совсем поправлюсь от болезни, то чтоб сразу привозили меня к ним дослуживать. Но дело приняло совсем другой оборот!

Усевшись в сани, наполненные сеном, укрылся я от холода и через четыре часа уже был у крыльца своего родительского дома. Взойдя в избу, я увидел все то, что не очень давно мне было родное, и невольно заплакал от радости после таких испытаний. В ернулся на родину не к отцу, не к матери, а почти совсем к чужим, конечно, особого сказать нельзя, а все-таки нет отца и матери — значит, нет любви и радости и надежды на будущее счастье, даже обо всем это не существовало и мысли.

Провел в родной избе я некоторое время, привык и познакомился вновь с бывшими моими товарищами и сделался опять таким же, каким был раньше.

Получаю письмо из города с приглашением меня служить. Думаю, надо собираться. С силами вполне поправился и могу снова работать так же, как и раньше. Но брат мой, доброжелатель, ответил на это, — весной, говорит, подрядимся на суда, поищем в Питере и там найдем тебе место более подходящее, чем здесь. Конечно, меня это обольстило, и я согласился. Пришла желанная весна, и я с братом поехал в Рыбинск. Поискали мне должности в городе и на судах, но нигде не нашли, и я принужден был из Рыбинска ехать в деревню с пятачком на своих двоих, значит, пешком 50 верст.

В шесть часов вышел я из Рыбинска и в десять вечера пришел домой. Конечно, от такого непрерывного перехода два дня у меня сильно болели ноги, и я вспомнил и изъявил было желание вернуться в Мологу к Кузнецову. Но брат мне не велел даже и на глаза показываться хозяевам, должно быть, из своей пользы, почему мне и обещал лучшее будущее.

Прошел май месяц. И вот я получаю от брата письмо с указанием точного адреса. Приезжай, — пишет мне брат, — я тебя подрядил вместе с собой на суда к Ухову Д.Ф. Я в тот же день собрался и поехал.

Простите, милые дубравы,
Беспечный мир родных полей
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!
Звучало все в душе моей.

Приехал в Рыбинск, слез с парохода. Переехал Волгу на городском перевозе и пошел по берегу реки Шексны для разыскивания судов Ухова. Пройдя приблизительно верст десять от города, близ деревни Костовец, нашел желанные мне суда и своего брата, взошел на борт полулодки. Поздоровался со своим братом, рассказал ему поклоны и поручения, посланные ему его женой со мной, попил чаю и принялся за указанное мне дело. Лил воду, мел палубы, крыл крышу после загрузки судна.

Когда совсем нагрузились, пришел к борту пароход «Кулибин», подал буксир, и суда наши тронулись за пароходом вперед с быстротою 6-7 верст в час.

Запестрели по дороге луга, поля, леса и деревни, которые для меня были так новы, что о каждое появление чего-либо нового — все меня приводило в восторг. И так под влиянием моих интересов недели через две-три мы достигли пристани Чайка. Это конец реки Шексны, около 400 верст от Рыбинска. Потом, пройдя за конями около двадцати верст канавой, дошли до города Белозерска.

Город Белозерск находится в Новгородской губ. на берегу озера, называемого Белозерским, величиною в 40-60 верст с очень холодной водой. Я в нем купался. Из Белозерска дальше тоже за лошадьми пошли канавой 53 версты до деревни Круглово, потом рекой Ковжей дошли до города Вытегры, мне там очень понравился собор. А в

пути меня интересовали шлюзы, их техническое устройство, искусственный подъем воды и так далее.

Из Вытегры Олонецкой губернии мы пошли рекой Вытегоркой, потом Вознесенской канавой верст восемьдесят до с. Вознесенья на устье реки Свири и Онежского озера.

Онежское озеро гораздо больше Белозерского, а река Свирь с очень быстрым течением, каменистым берегом и дном, с очень прозрачною, как хрусталь, водою. Там на глубине шесть аршин видно дно, камни и даже рыбу, которая бежит, ничего не боясь.

Во время купания очень легко находиться на воде, так что ляжешь, как в постель, и лежишь, ничем не шевеля, а тебя несет.

От Вознесенья наши суда забуксировал пароход и повел по течению реки Свири до Свириц 180 верст. Свирь впадает в Ладожское озеро. От Свири зачалили нас конями и повели в Ладогу. Город Ладога стоит на устье реки Волхов и Ладожского озера. Из Ладоги следует канал по берегу озера до города Шлищенбурга (так у автора — В.С.) 103 версты.

В Ладожском озере я купался много раз, в нем очень пологие берега, поросшие тростником.

Город Шлищенбург стоит на устье реки Невы и Ладожского озера. От Шлищенбурга нас забуксировал пароход в Петербург по течению вниз.

И все меня так интересовало, потому что картина сменялась картиною: реки, каналы, озера, леса, поля, промышленности, заводы, шлюза и т.д.

Вот и давно мне желанный Петербург. Пароход нас проводит самым центром столицы, спустил под мосты, потом прямым сообщением провел в Кронштадт. В Кронштадте мы вели суда в Итальянскую гавань для выгрузки муки, назначенной для Морского Министерства.

Вот я в Кронштадте. Хожу по городу. Ходил в крепость. Смотрел батареи. Вид на море. Корабли военные и коммерческие разных держав — все меня ужасно интересовало. Для выгрузки нам потребовалось два месяца. Наконец -то и опять вернулись в Петербург. Суда поставили на зимовку, а сами вернулись по железной дороге на родину, предварительно поискав мне в Петербурге места для службы, но, увы, его не оказалось.

Приехав в деревню, пришлось поработать на пристани Ухова досыта.

Пришел срок службы и поступления на новый срок. Чего надо было и ожидать. Ухов оставил меня у себя на зиму. Служа у него, я исполнял все обязанности: носил воду, дрова, ездил на его лошадях в лес и в город за товаром для лавки.

Зима прошла, весна настала,
растаял снег, прошел и лед.
В деревне нас опять не стало,
уж сели мы на пароход!

и поехали на порожние суда для возвращения обратно из Петербурга в Рыбинск для следующих грузов. Вернулись на порожняк, загрузили товаром и опять в Петербург, а потом опять в Рыбинск. Но на третий год загрузить суда нам не пришлось — делишки были плоховаты, и суда пришлось поставить на зимовку в июне месяце против своей деревни на реке Мологе.

Рабочих Ухов за ненадобностью всех рассчитал, а меня оставил для исполнения судовых работ.

Пришел срок расчета 22 октября 1898 г., праздник Казанской Божьей Матери. Ухов меня рассчитал. Прибавил мне за усердную службу 5 рублей и старый тарантас.

Получив расчет и прибавку, я, придя домой, вручил все моему брату и просил его, нельзя ли для меня купить новые сапоги. Пошли в село, купили сапоги новые, только не для меня, а для него, а свои старые он отдал мне. Так я и отгулял праздник, думая: живи в людях, работай, береги деньги, отдавай все жалование брату, а сам носи его старые сапоги в знак благодарности.

Вот и закралась в меня думушка крепкая: пойду я, выправлю новый паспорт, а потом уйду из дома родного куда глаза глядят. Так и сделал: взял паспорт в правлени и, пришел

домой и говорю брату: «Дай, братец, мне на дорогу, сколько можешь». Он, конечно, меня больше удерживать не стал, потому что видел, какую услугу оказал мне раньше и что из этого вышло. Отсыпал мне на дорогу один рубль, собрал я котомку, состоящую из одной пары белья, взял через плечо наперевес валяные сапоги и пошел из дома родного искать приключений. Вышел за деревню в поле, остановился, помолился на все четыре стороны света, утер рукавом слезы, катившиеся по щекам от давящей меня какой-то обиды, и зашагал по направлению к Мологе. Пришел в Мологу, сел на пароход, заплатив за билет из одного рубля 60 копеек, и приехал в Рыбинск 27 октября 1898 года.

Сошел с парохода и направил свои стопы на завод Аксенова, там был мне знакомый управляющий И.А. Разумов. Пришел, предложил свои услуги и получил отказ. Что делать? Пошел обратно в Рыбинск. Время вечер, пошел ночевать на постоялый двор, а денег в кармане всего лишь 20 копеек. За ночлег уплатил 5 копеек и ночь спал очень тревожно по случаю множества клопов и тараканов.

Утром встал ранешенько
и пошел в трактир.
Было мне тошнешенько,
когда чай я пил.
Думал, как да в Рыбинске
места не найду,
и пешком и голодом
я домой пойду.
Нет, во что не встало бы
надобно искать,
чтобы бабьи жалобы
дома не слышать!
Отпил чай, на улицу
вышел и пошел.
Предо мной раскинулся
рыбинский простор.
И с утра до вечера
место я искал.
Есть хотел, и денег нет -
вот во что попал!

К моему величайшему счастью, попался мне навстречу после долгих моих шатаний по стогнам богоспасаемого Рыбинска А.П. Барышев, крестьянин деревни Плес, и указал мне путь к получению должности, а именно — на горке — лавка В.А. Аксенова, куда я и поспешил.

Отвесив хозяйке низкий поклон, я предложил свой труд и услуги. Она на это отозвалась в мою пользу, и я поступил 30 октября 1898 года по 4 рубля в месяц. В первые дни моего поступления принялся очень усердно за исполнение всех служебных обязанностей. Тогда моими старшими коллегами были Л. М. Кудрявцев, В.Н. Ольхин и В.И. Мухин.

Прошла зима, всем стали назначать прибавку жалования. А про меня забыли. Но я, в свою очередь, был неосторожен — попросил себе прибавки сам, за что получил отказ. Но я, чувствуя, что дело теперь знаю хорошо и стою бо лее 4-х рублей, предложил хозяйке, чтобы меня уволили. В этом мне отказали, а предложили остаться за жалование 100 рублей в год и открыли напротив лавку N 25, куда и поставили меня приказчиком на отчет. Это было 23 января 1899 года. Вот тут -то моя жизнь и потекла более прилично. Узнали об этом в деревне мои родные благодетели и стали меня навещать почти каждый

месяц, обирать мои нажитые денежки. Конечно, это было помимо моего желания, а отказать им я был не в силах.

Год прошел. Произвели учет моей торговле, оказалась приличная польза. И мне прибавили жалования 20 рублей в год.

В 1901 году я познакомился с мастерицей из белошвейной мастерской Анной Никитичной Милютиной, которая с первого свидания произвела на меня самое приятное впечатление. Потом познакомился с ее братом Пашей. Нередко с ним беседуя, мы друг другу дали слово: я изъявил свое желание на ней жениться, а он во что бы то ни стало выдать ее за меня замуж.

Одно только мне очень мешало: нужно было в 1902 году призываться на службу. Но я все-таки не терял надежды отойти от солдатчины, т.е. миновать и жениться. Да нельзя было иначе и поступить, потому что я с нею гулял больше года. Жаждал ее появления где-либо, встречал и провожал ее всегда с чисто детской наивностью и простотой. А почему? Да потому, что любил! Но она была от меня очень скрыта и даже не проявляла ни малейшего повода взаимности. Но все-таки сквозь этот туман я замечал в ней, т.е. в ее простой душе некоторые огоньки любви и самосознания. Она не была болтлива или хитра и льстива, но была проста, пряма и предупредительна. Вот за это я ее и любил так искренно — так чисто и свято. И при том она была такая же сирота, как и я, т.е. не было родителей.

Когда я уезжал на призыв в Мологу на пароходе 13 октября 1902 г., то она меня провожала. И какие были у меня мечты? Меня сдадут в солдаты, она выйдет замуж за другого и, может быть, вижу ее в последний раз. А она, проводив меня, зашла в часовню, поставила свечку и помолилась за меня. Быть может, Бог услышал ее чистую молитву, и я от службы освободился. Конечно, был на комиссии в городе Ярославле, и по слабости зрения меня отбраковали. Приехав из Ярославля, я первым моим долгом поспешил представиться с моим почтением и радостью к ней, за р. Черемуху, Инвалидная улица, дом княгини Ухтомской. На второй день поехал в г. Мологу, чтобы получить от воинского начальника отставку, да кстати надо было и в деревню, потому что брат мой просил меня приехать и разделить все то, что осталось после наших родителей. Конечно, все это было готово, отставка взята, и наследство разделено по 70 рублей на часть. И я выехал благополучно в Рыбинск с братом Ксенофонтом на его лошади.

Приехали в Рыбинск благополучно, и я ему заплатил за доставку 5 рублей, а сам, не заходя к хозяевам, прямо пошел за Черемуху к своей возлюбленной Ан юте.

Тут я почувствовал себя совсем уже свободным женихом. Вот настал день моего рождения. Это было об Рождестве. Приехал из Костромы Паша брат невесту, пригласили меня пройтись по Крестовой, и во время нашей прогулки мы встретили Федора Михайловича Кайдалова, который пригласил нас к себе для решения следующих вопросов.

Какое нужно мне приданое, и когда можем сделать свадьбу. Во время чаепития у них все было решено, и меня поздравили с наречением, а невеста об этом не знала. После этого я и Паша, выйдя от них, направились в кегельбан (пивную Дурдина) и там, конечно, устроили хорошую попойку, поздравляя друг друга. А после этого пошли на квартиру к невесте и сообщили ей, что она просватана.

В приготовлении приданого и хлопотах о свадьбе время шло. Настал день венчания 3 февраля 1903 года. Подали лошадей к дому Аксенова, собрался народ. Благословили меня св. Иконой крестная А.И. Аксенова, а крестный был Л.М. Кудрявцев.

Приехали в церковь Воздвиженья. Я расписался в книге о заключении брака и стал ждать невесту. Вот привезли ее, ввели в церковь. Она была в это время так мила мне и хороша. Но все было так просто и скромно, без затей. Настал обряд венчания. Зрителей было в церкви порядочно, и много было знакомых.

Обряд кончился. Поздравили мы друг друга с законным браком и поехали к столу в дом Аксенова, где уже все было готово к приему. Благодаря Л.И. Аксеновой, был устроен

скромный стол с легкой закуской и чай. По окончании этого нас отправили на квартиру за Черемуху, где тоже был чай, выпивка и закуска. А после всего этого нас уложили спать!

Спустя два дня я уже был на службе и чувствовал себя семьянином. Так что каждый день после запора лавки шел прямо к своей дорогой и любимой жене!

Через несколько дней мы переехали на квартиру в дом Кузнецова на набережной, потом через некоторое время переехали в дом Чумакова. Потом в дом Беловой, а потом в дом Флягиной на Крестовую улицу. Потом у нас родилась дочь Мария, а потом мы переехали в дом Репниной, а потом в дом Кайдаловой на Пушкинскую.

По службе я с каждым годом получал прибавку жалования и, наконец, повышение. В 1908 году я уже был старшим приказчиком и получал 480 рублей в год. И в 1908 году я уже имел троих детей, а 23 января 1909 года купил дом у Федора Михайловича Кайдалова на Пушкинской улице за 7500 рублей с переводом долга 3000 руб. в общ. банк.

1910 года декабря 20 у нас родился сын Вася, а спустя две недели захворала моя дорогая Аня. (...) Лежала 2 недели в больнице, потом стала лечиться дома. Болезнь, по заключению врача, очень продолжительная.

Теперь у меня есть четверо детей, дом свой, своя корова, хорошая служба.

Это писал и остановился впредь до материалов 1911 года марта 6 дня в воскресенье 7 часов 30 м. вечера.

В. Смирнов.

За время моей службы столько было перемен и незначительных неприятностей для меня, новостей, ругни с супругой, хозяевами, со служащими. Конечно, обо всем этом я не пишу, потому что без этого никто не живет. И благодарю Бога за свое существование, благословляя прошлую жизнь и прося о будущей мирной и счастливой жизни.

Марта 8 дня 1911 г.

Вечером после запора лавки я ходил за Черемуху в городскую больницу с Капитоном Тиховым, и там нам привили оспу по случаю свирепствовавшей оспенной эпидемии. В Рыбинске прививал фельдшер Александр Федорович.

Сижу в столовой за столом.
Вот и свеча уж догорает.
Я кой-что вывожу пером,
А Маничка моя зевает.

В кровать уклали Саню спать,
и Тоня тоже засыпает.
А Васю мать пошла качать,
у люльки что-то напевает.

Все погрузилось в тишину,
уснули дети, я мечтаю
и вспоминаю старину.
Свои лета благословляю.

Жена с прислугой за столом
на кухне брюкву доедает.
А Васька кот сидит столбом,
мурлычет что-то и зевает.

Меня грузит. Я спать хочу.
Писать я пустяки кончаю.
С женой прощаюсь. Я шучу,
иду ложусь и засыпаю.

Марта 12 дня 1911 г.

Я с самого утра почувствовал себя не совсем хорошо. Кружилась голова, был озноб и жар. Но все-таки не покидал службы, весь день пробыл в лавке. Придя домой, вечером поставил градусник, и температура 38,5. Попил чаю с коньяком, лимоном и сахаром. Потом Анюта меня натерла уксу сом с вином, укрыла одеялом и шубой, и я заснул. Около полуночи проснулся и вспотел. Утром при 37,5 встал и пошел в лавку. Что значит частная служба, что не осмелился пролежать дома хотя один день. 13 марта в воскресенье день провел с трудом. В 2 ч. заперли лавку, пришел домой, пообедал. Потом расположился в столовой. Я сижу и пишу. Жена сидит на диване с газетой в руках, а сын Вася лежит на диване. Кряхтит и сосет из бутылки молоко, придерживая ее руками. Маня, Саня и Тоня ушли гулять за ворота, потому что погода была прекрасная.

22 мая 1911 г. День Св.Троицы.

С самого раннего утра была очень скверная погода. Дождь лил как сквозь решето. Но около 10 часов утра немного прояснело, и мы с Анютой ходили в монастырь молиться Богу, а оттуда возвращались через большой двор по Угличскому тракту и домой пришли в 2 часа дня. Пообедали, и я сел за стол и писал, а Анюта занималась с сыном Васей и Тоней. Маня и Саня уехали с Катей в деревню. Солнце светило в окна, и воздух после дождя благоухал. В лавку совсем не выходил. Дома сидеть что-то скучно. Нет детей дома. А идти гулять Анюте несвободно, потому что прислугу отпустил.

10 октября в 11 часов дня.

Я, Маня и Саня с поездом Сев. ж.д. ездили в Кострому. На обратном пути заезжали в Ярославль и находились там в течение 8 часов. Осматривали магазины, театр, только что отделанный, и строящийся мост через р. Волгу. Ходили в Спасский монастырь для поклонения мощам Яр. Чудотворцев, а в 5 ч. 05 м. сели на скорый поезд и приехали в Рыбинск в 8 часов вечера 11 октября 1911 года.

(Дальнейшие записи в дневнике нерегулярны, носят отрывочный характер. — В.С.)

5 октября 1912 года. Весь день была очень скверная погода. С раннего утра и до позднего вечера лил дождь и снег, не переставая ни на минуту. Я пришел из лавки в 6 часов вечера мокрый и усталый и под влиянием такой погоды вздумал похандрить, а больше потому, что, придя домой, не оказалось дома жены.

Вот она пришла, и я ей сделал небольшое замечание, говоря, зачем ты шляешься и не сидишь дома в такую скверную погоду, а она на мои слова разразилась руганиями по моему адресу с такой силой, что в ход пустила всех чертей и дьявола, даже несколько раз повторяя и обзывая меня хулиганом. Конечно, я этому не придавал серьезного значения и только сидел и слушал, как сыпались на мою плешивую голову черти из уст расхрипевшейся жены, а спустя некоторое время лег спать без ужина и на все ругания не отвечал грубостями.

6 октября. Погода исправилась. Утром заморозило, и весь день было сухо, хотя был небольшой снег в 12 час. дня. Ко мне в лавку приходила жена с детьми, и про вчерашнее ни слова, а я, как был характерный человек, даже не показал ни малейших признаков вчерашнего оскорбления. Придя домой в 6 ч. вечера, жену обретоша дома и детишек вокруг нее. Жена мне предложила чаю, я согласился и выпил два стакана. Читал газеты и как ни в чем не бывало разговаривал с женой! Так вот что дает практическая супружеская жизнь. Помня старинную пословицу, что после бури и дождя всегда бывает хорошая погода, так и сердце человека после всякой неприятности становится мягким и добрым!

1913 г. Лед на Волге тронулся 14 марта в 6 ч. 30 м. вечера, и сразу же начался полный ледоход. От сильного напора льдом оборвало баржу, нажало на быки и сломало ее окончательно. Судов всего было около 200 на луговой стороне против города и около 300 в Копяеве. Во время ледохода было унесено 150 барж и часть поломано. Лед очистился окончательно 25 марта.

1913

25 марта я причащался у Воздвиженья, в лавке весь день не торговал. Утром захворал Вася, приходил доктор Соболев, прописал порошков. Жар был 39,5 градусов и весь день чувствовал себя скверно. Его причащали у Спаса, носила мать, и делала ванну.

Сдали квартиру вверху полякам по 25 руб. в месяц, считая с 1 апреля. Погода весь день была холодная и моросил дождь. Хотя и был свободный день, но весь день сидел дома.

4 часа 25 м. вечера в столовой за чаем.

27 сентября. Выпал первый снег около 2 вершков и были морозы до 3,5 градусов, а с 1 октября начало таять и пошел дождь и снег. Мы шли в 10 ч. вечера от Набатова, и нас намочило как следует.

(Далее несколько строк детским почерком старшей дочери Марии – В.С.)

Сияла в небе звездочка
и Ангел тихо пел.
Шла по морю лодочка,
а в ней кто-то сидел.

Ангел летел над покрывалом.
Папа проснулся от сна.
Ангел сказал ему три слова
С Ангелом, Папа, тебя.

27 сентября выпал первый снег около 2-х вершков и были морозы до трех с половиной градусов, а с 1 октября начало таять и пошел дождь и снег.

(Далее в дневнике большой перерыв до начала 1917 года. — В.С.)

7 января 1917 г. меня призвали в ряды Армии как белобилетника и 10-го уже назначили отправку в Рязань. Не хочется, да что же делать. Как говорят, отдай душу Богу, а тело Царю. Но за что?

К жене Анюте.

Не плачь безутешно, меня провожая
Из дома родного в чужую страну,
Туда, где грохочет гроза боевая,
Куда миллионы идут на войну.
С тоскою глядишь ты, с меня не спуская
Слезами наполненных нежных очей.
Я знаю, что много, моя дорогая,
В слезах проведешь ты бессонных ночей.
В очах твоих много я вижу, родная,
Ко мне беспредельной и нежной любви.
На битву с врагами меня провожая,
Меня ты на подвиги благослови.
Все бодрые духом и сильные телом
Безропотно смело идут на врага,
Идут за свободу, за правое дело
Тому, кому родина мать дорога.
Не плачь же, родная, и будь терпелива,
С тобою, Бог милостив, буду опять.
Обратно вернусь, и ты будешь счастлива.

Не плачь, я Отчизну иду защищать!

Давая настоящему стихотворению патриотическую тему, я мыслию далек от патриотизма, потому что страна наша вся разворована, распродана оптом и в розницу. К правительству полно недоверия, в стране голод и страшная дороговизна всего вызвана искусственным повышением больших и малых дельцов, на которых наше нечестивое министерство смотрит как на предмет (т.е. не замечает — В.С.). Да и само оно замешано в грязных делах. Правительство наше народ не считает ни за что и нашего брата солдата считает еще хуже. Берет без пощады, морит голодом, учит шагистике, отправляет на фронт, а там беспощадно подставляет под неприятельские пули и пулеметы десятками тысяч! А граждан тыла закрепощает, обирает и морит с голоду. В некоторых краях страны дает вместо хлеба фигу да кроме того, вооружает стражников пулеметами. Судя по этому, хорошего быть не может. Например, в Пошехонье отправлено 3 пулемета и 45 стражников, для того чтобы вместо хлеба старикам, женщинам и детям дать пулю! О Боже! Доколе все это будет? Трудно сказать, потому что народ у нас непартийный и неученый, все терпит и терпит до гроба. А там попы обещают мученикам пресветлый рай, а по-моему, ничего подобного! Все вранье и чушь.

Скажу это словами одного великого человека:

Колыбельная песня (1905 года)

Спи, голодная Россия, баюшки-баю,
Сторожат штыки стальные волюшку твою.
Ты, я знаю, придет время, проклянешь житье,
Ты захочешь сбросить бремя и возьмешь ружье.
Ты спокойна будешь с виду, счастлива во сне.
Я тогда на биржу выйду, как удастся мне.
Стану сказывать я сказки, песенку спою,
Ты дремли, закрывши глазки, баюшки-баю!
Стану я писать доклады, манифест скрою,
Ты ж дремли, моя отрада, баюшки-баю.
Чтоб не грезилась свобода, меры я приму,
Для мятежного народа выстрою тюрьму.
Заведу я эшафоты, в цепи закую,
Спи, Россия, без заботы, баюшки-баю!
Не ищи, Россия, правды, на беду свою.
Свою голову положишь ты в родном краю.
А расставлю пулеметы, кровью все залью.
Дрыхай мирно, без заботы, баюшки-баю!

(Автор цитирует несколько искаженный текст перепева «Казачьей колыбельной песни» М.Ю. Лермонтова. Стихотворение было опубликовано в № 3 журнала «Бурелом» за 1906 год с подзаголовком «Сочинение высокопоставленного анонимного автора» анонимно с подписью: сообщил Семыч. Под «высокопоставленным» имеется в виду С.Ю. Витте, от лица которого написано стихотворение. Правильный текст в кн.: Стихотворная сатира первой русской революции (1905-1907), Л: 1969. Оттуда же взято примечание — В.С.)

Все ложь на лжи и ложью погоняют, все вор на воре и воров замменяют. Это доказывает штурмеровщина и Манусевич с присутствующими и Священный синод и ненужный помощник, содержащийся за счет семинарии. Исходя из этого, скажу стратегическим словом: Россию разграбят. Народ прибьют.

Остатки закрепостят в тяжелые цепи, в стране будет бедствие, воровство и несправедливость, потому что остались воры, которые делают ежедневно набеги на незащищенных жителей и обкрадывают безнаказанно. Полиция разыскивает воров тщетно.

Суд судит, которых поймают, потом сажают их в тюрьму, а там эти воры кончают полный университет и вновь выходят с большим умением, удваивая свои преступления, и так без конца! Горе всем гражданам до гроба, а там царствие небесное, как сказал поп!

Милым детям

Милые детки, слушайтесь мамы -
Это ваш путь к воспитанью других.
Богу молитесь, учитесь, трудитесь -
Чаще читайте мной писанный стих!
Все это, дети, для вас пригодится,
Вы еще молоды, вы и глупы.
Бог вразумит вас на небо молиться.
Слушайтесь мамы, не будьте слепы!
Злу она вас никогда не научит.
Мама неглупая, дети, у вас.
Жизнь человека до гроба все учит,
Жизнь человеку учение даст!
Слушайте мамы всегда вы совета,
Не уклоняйтесь от них никогда.
Путь ваш тернист, в нем ищите ответа.
Слушайтесь, верьте, учитесь всегда!
Я, может быть, уже к вам не вернусь.
Свой оставляю на память завет.
И за меня помолитесь в минуты
Тяжкой печали, и горя, и бед!

1917 г., 8 января.

Милые дети, добра вам желаю.
Дай вам Господь плодотворных трудов.
Вы еще молоды, слабы, я знаю,
Вам надо жить еще много годов!
Чтобы узнать, что такое Россия,
Чтобы увидеть всю истину прав.
Вспомните меня, уж когда вы большие
Будете знать и обычай и нрав!
Может, придется в нужде и заботе
Жить вам и пищу трудом добывать.
Вы приготовьтесь к великой работе,
Чтобы не пришлось врасплах горевать!
Вам я советую лучше учиться,
Больше к труду всем себя приучать,
Слушаться мамы и Богу молиться,
В жизни просить у него благодать!

Будьте послушны, честны, трудолюбивы, как был ваш папа, и жить будет хорошо и без нужды, потом Господь Бог благословит вашу жизнь, и вы будете счастливы, если не забудете моих слов.

А потому почаще смотрите здесь, а маму не расстраивайте, не оскорбляйте, уважайте и почитайте ее. Она у вас одна, милая мама, и нужно ее беречь, заступиться за нее некому. Я, может быть, больше не вернусь, и еще раз прошу беречь маму. Вы уже понимаете, как

можно беречь. Значит, нужно во всем помогать маме, успокаивать ее в минуты горя, не расстраивать ее, слушаться и уважать до гроба!

Благословляю вас покровительством всевышнего Господа и ухожу на войну с сознанием, что вы это все будете исполнять. Любящий вас и всегда заботящийся о вас папа.

8 января 1917 г.

Благодарю всемогущего Господа, что жизнь мою благословил он великой милостью. Я жил все время хорошо, без нужды и, уходя на войну, оставил кой-что своему семейству для существования. Труды мои зря не пропали, и все пошло в путь. Я в жизни никого не обижал, был верен своему слову и никогда его не брал обратно, за что часто от этого страдал сам от обидающих меня. Шел всегда прямой дорогой, не укрывал на оборону, даже не укрылся от войны, хотя было можно. Но раз есть душа прямого направления, то я этого сделать не мог и пошел прямой дорогой. Значит, так нужно.

Детям

Милые дети, прощайте,
Я ухожу на войну.
Чаще меня вспоминайте,
К вам я, быть может, приду.
Слушайтесь, милые, мамы.
Мама научит добру.
Вы еще глупы и малы,
Верьте чужому уму.
Будете вы, как большие,
Будете все понимать.
Так не забудьте, родные,
Младших добру научать.
Это великое дело,
Жить для себя и других.
Силу свою вы всецело,
Все положите для них -
Тех, кто судьбою обижен,
Кто в недостатке живет,
Кто от людей ненавижен.
Вы их ведите вперед!

10 января 1917 г.

К жене

Прощай, дорогая супруга,
Быть может, совсем, навсегда.
Прискорбно любимого друга
Оставить, забыть — никогда!
К тебе, дорогая, вернусь,
Все силы утратя свои,
Но с тем никогда не смирюсь,
Увижу я светлые дни!
Те дни, как с тобою, бывало,
Я жил, и мечтал, и дышал.
Надеждой и лаской-пылало,
Я зла от тебя не видал!

Была ты мила и покорна,
Любил я тебя без конца.
Тиха и скромна — благотворна
От самого красна венца!
Прости же меня, дорогая,
Придется, быть может уснуть
В чужбине далекого края.
Меня помянуть не забудь!

В день отъезда на войну, 10 января 1917 г.

Владыко Боже Всемогущий,
Спаси меня от вражьих пуль.
Я не хочу войны грядущей.
Спаси меня и вразуми, что делать мне,
И научи, своим великим провиденьем
Ты лютых зверей укроти.
Любовь стране и людям братство,
Великий Боже, возврати.
Пошли мне, Господи, терпенья
И вразуми мой слабый ум.
Сегодня для меня мученья,
Душа полна тревожных дум!
Я, уезжая, оставляю
Жену и четверых детей.
Благослови их жизнь, Владыка,
И сохрани от злых людей!
Прощайте, мои дорогие,
Молитесь Творцу за меня.
Прошу, не забудьте, родные,
Как вас не забуду и я!

10 (января 1917 г.)

Ах, как жалко, родные, мне вас оставлять,
Как не хочется мне в дальний путь уезжать.
Что же делать, злодейка-судьба роковая
Мне судила без вас жить в дали одному
И о вас каждый день вспоминать, вам желая
Лучшей жизни и счастья от Бога и сил,
И вас, милые, благословляя,
Я уезжаю с тем сознанием,
Что вы будете жить безбедно
И не забывать обо мне, а главное -
Не скучайте и не расстраивайтесь.
Это будет меня утешать.

1 марта Россия стала свободной революционной страной **(приписка синими чернилами, хотя весь дневник писан черными — В.С.)**

На побывке дома апреля 2 дня 1917 г. После тяжелых душевных и телесных испытаний на великий праздник Св. Пасхи меня отпустили с 30 марта по 6 апреля домой из г. Вязьмы, управления воинского начальника, где я был на курсах писарских учеников. На конкурсе 29 марта получил баллы 3 по 5 и 2 по 4.

Была великая радость, когда нас отпустили, а перед тем за две недели была у меня в Вязьме моя дорогая Аня. После ее отъезда я страшно скучал, и вот Бог привел еще свидеться. По приезду в Вязьму нас вышлют в Смоленск, а потом на Юго-Западный фронт. Дай Бог здоровья вернуться и еще здесь писать, что испытаю и где побываю. Помирать — не хочется, еще малые дети. Хочется их поднять и научить, чтобы помнили. Но воля Господня. Он один Всемогущий спасет рабов своих от беды!

Аня, Маня, Саня и Тоня ушли за заутреню, а я и Вася остались дома. Время 2 часа утра.

Христос Воскресе! И в сердце радость. Но как вздумаешь, что нужно ехать на войну, так, представьте себе, не хочется.

Решил ехать 7 апреля в Вязьму, потом в Смоленск, а потом на Юго-западный фронт. На душе так грустно. Не хочется оставлять любимое семейство и дор огую жену Аню, но печали не избавиться. Господи, благослови и спаси солдата Василья.

18 апреля приказом отпустили до осени, и 20-го я приехал домой. 23-го ходил к Аксеновой, хотел поступить служить, но получил отказ. Я у нее служил около 20 лет, и хватило буржуйской совести отказать человеку только за то, что ушел на военную службу. Вот, граждане и братья товарищи, и иди спасать страну. А вернешься домой и получишь фигу! Ну черт с ними, этими идиотами буржуями. Придет время, мы научим, как на свете жить, издеваться над людьми.

8 мая всю ночь и полдня шел снег, и насыпало местами по колено. Словом, как зимой при холодном северном ветре. Я сижу дома и гулять не иду — холодно. Собираемся обедать, время 12 часов дня. Снег перестал.

2 октября приехал совсем домой по 37 ст. 4 дня таскал с огорода капусту и рубил для коровы неделю. Потом начал гулять и проживать деньги. Продал дом на Пушкинской, за Волгой, у Георгия и купил особняк на горе с садом.

(Далее идут несколько отдельных записей, относящихся, судя по соде ржанию, к 1916-17 гг. — В.С.)

В 1914 году в июле началась война с Германией, Австрией, Турцией, потом Болгарией. Наши союзники были Франция, Англия, Сербия, Италия, Румыния, Бельгия, Черногория.

И дела хоть брось. Такой упорный враг, что нипочем не сладишь ь.

1915 года октября 10 попал в плен в Германию Милютин П.Н. и находился в Гейльсберге, писем получаем от него мало.

1916 г. 28 октября мобилизуют 2-го разряда 4 года, 1899, 98, 97, 96. Первый разряд взят 1894-й. Белобилетники взяты по 1910 включительно. **(Здесь и далее, очевидно, не год рождения, а год наступления призывного возраста — В.С.)**

С 19 декабря стали призывать белобилетников с 1909 по 1901 год включительно, меня взяли 7-го января, и я уехал в Рязань, в 78-й полк 10-го, а 11-го получили приказ об отмене призыва белобилетников. Я в это время уже был в Москве, потому пришлось вступить в ряды Армии, а счастливые товарищи остались дома. Кончил службу и вернулся домой совсем 2 октября 1917 г. из Смоленска.

(После многолетнего перерыва последние записи 1933 года – В.С.)

Апреля 14-го в 11 ч.45 м. вечера умерла моя жена Аня, с которой я прожил 30 лет. Похоронили ее 16-го апреля на Георгиевском кладбище.

Все сметено могучим ураганом, и нам с тобой расстаться суждено. Прощай навеки.

Спи, милая подруга. При жизни мы измучили друг друга. Тепере отдохнем.

4-го мая я записался 2-м браком с Шурочкой Игнатьевой 28 лет.

Выбор был короток, она на меня произвела самое лучшее впечатление при первой встрече и сразу же заняла в моем сердце известную площадь, да так крепко, что без этого

милого существа мне жить не для чего, а потому полюбил его выше всего святого на свете и дал себе слово сделаться ее мужем, если она согласится. И она согласилась.

Я обязан любить ее, беречь, жалеть, уважать и требовать от нее полной взаи мности. Тогда построится у нас красивая семейная жизнь, а если не соблюдать эти правила, то дело будет куда не годиться.

16 мая 33 г.

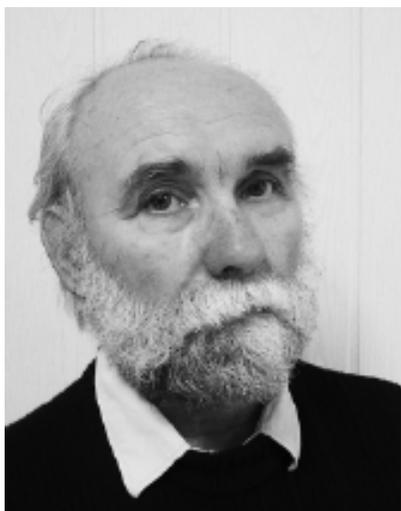


Мещанин г. Рыбинска Василий Гаврилович Смирнов

**со своей супругой Анной Никитичной Смирновой (урожденной Милутиной).
Снимок сделан в 1908 г. в ателье А.Пийра в Рыбинске, на углу улиц Крестовой и
Угличской.**

(фото из архива В.В.Смирнова)

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ



Михаил Савицкий

Где-то там есть улица Рубцова...

Накануне октябрьских праздников 1969 года судьба занесла меня из Ярославля в Вологду: мои новые друзья, вологодские художники Генриетта и Николай Бурмагины, незадолго до этого побывавшие у меня в гостях, тогда же пригласили нанести ответный визит. И я, до этого никогда не бывавший в их старинном городе, с удовольствием согласился.

Когда-то Бурмагины закончили Ярославское художественное училище; ныне они занимались ксилографией, то есть, гравюрой на дереве: Гета создавала композиции, а Коля резал гравюры. А свела меня с ними страсть к собирательству. Николай давно коллекционировал разные отечественные древности, часто ездил по деревням своей и Архангельской областей, привозя из этих экспедиций превосходные образцы северной русской живописи и предметов крестьянского быта. Я же тогда только начинал коллекционировать поддужные колокольчики, было их у меня всего-то штук пять — но в новое увлечение уже окунулся всей душой. Помню, как обрадовался, найдя в Николае родственную душу: каждый из моих колокольчиков он брал в руки, тут же со знанием дела давал им характеристики, рассказывая попутно разные интересные истории из своей практики собирательства.

Договорились мы тогда встретиться после праздников, но так вышло, что приехал я в Вологду на неделю раньше. Стоял тихий холодный день, какие в это время года напоминают о скором приходе зимы, лениво падал снежок, делая тротуары и крыши домов светлыми и нарядными. Я шагал вологодскими улицами, находясь в приподнятом настроении: мне

Михаил Павлович Савицкий родился в 1939 году в Ярославле, в семье художника, его отец, дядя и бабушка попали накануне Великой Отечественной войны под каток сталинских репрессий и были осуждены на длительные сроки заключения. Михаил окончил школу рабочей молодежи, учился в текстильном техникуме, служил матросом на флоте, в 1968 году окончил вечернее отделение Московского финансово-экономического института. Параллельно трудился токарем на Ярославском заводе топливной аппаратуры, был комсомольским работником. 34 года проработал преподавателем экономики в Ярославском химико-механическом техникуме.

С юношеских лет увлекается живописью, с 1972 года выставляет свои работы на художественных выставках. Член Союза художников России с 1998 года. Свыше четверти века занимался марафонским бегом, в возрасте 55 лет участвовал в международном марафоне. 20 лет отдал горному туризму, побывал на Памире, Тянь-Шане, в Горном Алтае.

В числе давних увлечений Савицкого – краеведение и филокартия. Его коллекция старинных открыток с видами Ярославля насчитывает более 1500 экземпляров, ее материалами регулярно пользуются музеи Ярославля, издатели, историки, краеведы, реставраторы.

Живет в Ярославле.

предстояло увидеть нечто красивое и необычное, причем, не в экспозиции музея, а в обычной городской квартире. Николай еще в Ярославле сказал мне, что не исключает возможности обмена какими-то древностями; предвкушая этот обмен, я уже тихо радовался, как радовался бы на моем месте всякий коллекционер.

Страсть к собирательству, охватившая в те времена значительные слои общества, была заметным общественным явлением. Особенным успехом пользовались фалеристика, филателия и нумизматика: врачи и учителя, художники и рабочие, дети и взрослые отдавали тогда собирательству немалое время, домашние коллекции значков, марок и монет насчитывали тысячи экземпляров. А после выхода в свет книги Владимира Солоухина «Черные доски» самые ленивые и тяжелые на подъем люди встали со своих диванов и двинулись в деревню, за иконами.

В «красных углах» деревенских изб висели тогда, как правило, иконы начала XX века, писанные в Сергиевом Посаде — с золотистым фоном, без ковчега, то есть, без углубления в самой доске. Понятное дело, коллекционеров-неофитов интересовали не эти иконы, а «что-то подревнее, с чердака». Чтобы уговорить хозяйку избы совершить экспедицию на этот самый чердак, требовались иной раз чудеса красноречия. Нужно было не просто расположить хозяйку к себе, но и придать своему интересу к черным доскам чуть ли не национальную значимость. А потом, когда иконы уже находились в избе, собирателю было насущно необходимо «блеснуть эрудицией»: сквозь почерневшую олифу, которой иконы покрывали каждые сто лет, мгновенно увидеть и распознать библейский или апокрифический сюжет, точно назвать святых, определить по характеристике иконной доски (размер, дерево, форма шпонок, оклад и т.д.) время создания святыни. Только тогда, когда у хозяйки уже не оставалось никаких сомнений в том, что с ней беседует специалист, знаток, она решалась отдать в его руки черную доску — ту самую, которую она прошлой зимой, из-за отсутствия дров, чуть-чуть не истопила в печке. «Ну, раз уж она тебе нужна, милочка — забирай, поди-ка, не выбросишь», — говорила старушка.

Денег за иконы обычно не брали. «Нет-нет, не возьму, грех». Если время позволяло, вся операция нередко завершалась обычным чаепитием. Случалось, впрочем, и так, что хозяйка в последний момент шла на попятный: еще каких-нибудь пятнадцать минут тому назад об иконах, валявшихся на чердаке, говорилось как о куче деревянного хлама, а теперь вот, поди ж ты, отдавать этот хлам становилось жаль. Хозяйка тут же вспоминала, как прятала она эти самые черные доски в 30-е годы на чердак от активистов, говорила о том, что отдавать икону в чужие руки — грех...

...Погрузившись в раздумья, я не заметил, как приблизился к дому Бурмагиных — обыкновенной пятиэтажке, у подъезда которой стояла груженная мебелью машина. «Кто-то, видать, переезжает», — мелькнула у меня мысль. В этот момент из подъезда вышел Николай, сопровождаемый водителем машины. Увидев меня, он посетовал на ситуацию и сообщил, что им с Гетой только что дали новую квартиру. Тем не менее, пригласил зайти.

«Переезд — что пожар», — вспомнил я старинное присловье, окинув взглядом раскуроченную квартиру Бурмагиных. В глаза бросились опустевшие книжные полки, самовары и керамика на полу. И, конечно же, иконы, еще не снятые со стен — темные, старинные. Одна из них была с подвесной цатой, висящей под ликом Богоматери (как бы лежащей на ее груди); венец был усыпан речным жемчугом. На противоположной стене висела красочная миниатюра современного мастера, размером со спичечный коробок, на сюжет «Огненное вознесение Ильи Пророка».

— Палешанин расписал, к рождению сына, Ильюшки, — заметил хозяин квартиры, перехватив мой взгляд. — Посмотри: такая малютка, а держит всю стенку. Большое искусство!

Движением руки Николай дал понять, что эта оценка относится не только к миниатюре, но и ко всему тому, что находилось в поле моего зрения — старинным прядкам с

Северной Двины, расписным туесам, чернолощенным корчагам в берестяной оплетке, к проложенным газетами и стоявшим стопкой на полу муравленым изразцам.

Тут же, на домотканой дорожке, лежала секира, на металлической лопате которой было точками выбито изображение дракона. Николай поднял ее с пола, повертел в руках.

— Не поверишь...ведь семнадцатый век! Я ее ни на что не сменяю. Большая редкость. Привез из Тарноги прошлым летом, — с гордостью произнес он.

Я тогда еще не знал, что Тарнога для Вологды — что Пошехонье для Ярославля, и как раз собирался спросить об этом, как в комнату вошел незнакомый чело век. Он был в черном демисезонном пальто и шапке; шарф, выступая из -под ворота пальто, почти не касался шеи и сообщал вошедшему некую небрежность и независимость. Человек ни с кем не поздоровался, словно все это время находился в соседней комнате и вошел л ишь для того, чтобы дать совет при погрузке. Гета назвала его Колей, они прошли на кухню. «Ну, ты же видишь — мы переезжаем, все убрано», — донесся до меня голос хозяйки. Возникшую неловкость мгновенно сгладил хозяин, заметивший, что из кармана пальто незнакомца торчало горлышко бутылки. Во мгновение ока Бурмагин принес от соседей «тару» — и вскоре живительная влага забулькала в стаканы.

Я от угощения отказался, памятуя о том, что мне вскоре предстояло идти на вокзал — о чем, впрочем, очень скоро пожалел. Фраза, которую произнес незнакомец прежде, чем поднести стакан к губам, напоминала тост, но была, скорее, отрывком из какого -то стихотворения:

— За Вологду, землю родную, я снова стакан подниму...

Они выпили, но разговор у двух Николаев не шел. Бурмагин, очевидно, спешил вернуться к погрузке, а незнакомец был, казалось, весь погружен в какие -то свои думы. Я обратил внимание на его большой лоб, который делало еще больше отсутствие волос на голове.

Ушел он молча, не прощаясь, точно так же, как и появился.

Гета спохватилась, что даже не познакомила нас. Оказывается, это был их вологодский приятель, поэт Николай Рубцов, талантливый и уже известный. Я, в те времена даже не слышавший этой фамилии, так и ответил ей: поэзию -де люблю, а такого имени не слышал. Тогда она достала с полки тоненький сборник стихов Рубцова с их гравюрами — и протянула мне.

Ее муж, знавший, что я служил на Северном флоте, заметил кстати, что Рубцов тоже служил матросом, в тех же краях. Книжка была тут же подарена мне — и мгновенными росчерками пера Гета выразительно изобразила на свободном месте всю свою семью, оставляя мне на память графический автограф из Вологды.

Уже в поезде я открыл книжку — и первые же строчки тронули меня до глубины души.

Меж болотных стволов красовался восток огнел икий...

Вот наступит октябрь — и покажутся вдруг журавли!

И разбудят меня, позовут журавлиные клики

Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...

То ли потому, что на дворе стоял как раз ноябрь, то ли от щемящей красоты этих слов, но у меня сдавило горло. Боже мой!.. ведь еще какой-то час назад я мог не только получить в дар дружеский автограф автора этих удивительных строк, но и выпить, и поговорить с ним самим...не судьба, не судьба!

Я перелистывал страницы книги, вновь и вновь возвращаясь к поразившим меня строчкам и благодаря судьбу за неожиданный подарок. Я еще не знал тогда, что с этой самой минуты буду любить стихи Рубцова всю жизнь. А поезд мчался себе из Вологды в Ярославль, постукивая на стыках рельс и навсегда унося меня и от автора этих с тихов, и от моих друзей Геты и Коли...

Спустя год по дороге на свою дачу в Феропонтово Николай не справился с управлением и машина вместе со всей семьей перевернулась. Генриетта с Илюшей отделались легкими ушибами, а Николая в местной лечебнице так и не см огли вывести из

шокового состояния. Вскоре рак унес в могилу и саму Гету. А через несколько месяцев ушел в мир иной и тот большелобый, молчаливый человек в шарфе, который, стоя рядом со мною, поднимал стакан с водкой «за Вологду, землю родную».

Открывая сегодня его книгу, я вновь поражаюсь силе предвидения, которая присуща только большим поэтам:

Я умру в крещенские морозы,
Я умру, когда трещат березы...

Может, это и не так плохо — стоять рядом, и даже словом не обмолвиться? Зато и фальши не было. Сон какой-то, да и только.

Что привело его тогда в дом Бурмагиных? Только желание распить бутылку да потрепаться? Нет, не тот человек... Может статься, его тянуло тепло бурмагинского очага, светлая и чистая атмосфера этого дома? А может, затравленный жизнью и людьми, он нуждался тогда всего лишь в простом человеческом участии? Как знать...

Иногда мне кажется, что я мог встречаться с ним в Североморске, на первом причале — в те минуты, когда моряки возвращаются из увольнения и спешат добраться до своих кубриков, чтобы поскорее уснуть. Или еще где... Велика, до сих пор еще велика русская земля, есть где встретиться и разминуться на ней и простым, и непростым людям.

Мне часто вспоминается та мимолетная встреча. И Вологда тоже. Как она сумела сохранить к тому времени свой деревянный облик? Вся привокзальная часть, весь центр, помнится, были деревянными. Что ни дом, то музей. Резное крылечко, аккуратный палисадник, калитка с кованым кольцом. Наличники, дымники на тр убах, светлые веранды. В таком доме хочется жить...и от самого присутствия этих домов рядом хочется жить, от того, что все это — такое удобное, красивое и привычное. Такое русское.

На такой улице можно услышать скрип калитки, который слышали здесь сто лет назад. И боевой, сквозь время летящий клич петуха. И глухие удары колуна о свежие торцы березовых поленьев.

Мне грустно оттого, что эта симфония звуков навсегда ушла с улиц наших городов. Но я не только грущу — я и радуюсь. Потому, что где-то там, в тихой Вологде, есть улица Бурмагиных и улица Рубцова...

Где-то там есть улица Рубцова...

Виды Вологды в рисунках ярославского художника Михаила Савицкого



ПОЭЗИЯ



Алексей Бокарев

Лучше быть ником

* * *

Ты уходишь? Иди, не держу
тебя больше. Ну, что же ты, рада?
До порога тебя провожу –
Нет, не грустным – бессмысленным взглядом.

Путь свободен. Твой плащ на гвозде
в коридоре. Не хлопая дверью,
уйди. Да, мы больше нигде
не увидимся. Знаешь, теперь я

в это верю, ведь перед тобой
долгий путь по листве облетевшей.
Может быть, в никуда. Только «стой»
я не крикну, листок пожелтевший

перечитывая, торопя
сонный взгляд (обещай мне не сниться!)...
Я от скуки придумал тебя,
но теперь – время комкать страницу.

Улыбнись, ускользая во тьму.
Я останусь один. Нет, со мною
будет музыка, музыка, му...
И за окнами небо ночное.

Алексей Сергеевич Бокарев родился в 1986 году в г.Рыбинске. В 2004 году, окончив лицей, поступил на филологический факультет Ярославского государственного педагогического университета им. К.Ушинского, где и учится в настоящее время.

Много читает, среди его любимых авторов – Блок, Гумилев, Бродский, Рыжий. С детских лет профессионально занимается каратэ.

Литературным творчеством увлекся в школьные годы. Публиковал стихи в областной периодике. Живет в Ярославле.

ОТРЫВОК

Поезд был похож...не понять, на что.
И куда он шел, я не мог постичь:
Не то в рай (едва ль), не то в ад, не то
он стоял на месте. Меня опричь,

ни души в нем не было. Лампы свет,
угасая, плыл в море полумглы.
Тот, кто запер наглухо туалет,
постепенно стирал теперь все углы.

Я боялся, что и меня со всем
остальным, как пыль, он легко сотрет.
Лучше быть никем, чем не быть совсем,
лучше мять ногой неокрепший лед,

лучше ехать вдаль, даже если пуст
навсегда вагон, лучше целовать
на стекле оставленный оттиск уст,
чем твой облик в памяти вызывать.

* * *

Намек
на рассвет
стерт.
Стеною обстала
ночь.
Как хочется
все же –
черт! –
исчезнуть
отсюда
прочь.

Где солнце?
И день –
где?
И в комнате
тени
лишь.
Но только
бегут и те –
чуть с ними
заговоришь.

* * *

Чей там голос? Сопрано? Мария Каллас?
Или кто-то еще? Нет, не могу узнать.
Но это и есть немного, что осталось
в этой жизни от прошлой. Потом – читать.

Не суть важно, что именно, только лишь бы
не хромал размер, и чтоб рифмы там
были точные. Но куда подевались книжки:
А.А. Блок, Гумилев, Мандельштам?

Дальше – выйти на улицу и, под ливень
вдруг попав, прятать грусть под чужим зонтом.
Всякий раз отводить глаза, повстречав глумливый
взгляд, лишенный сочувствия. А потом

возвратиться домой и, включив пластинку
(ту, где тенор берет что-то вроде «до», –
совершенно без разницы: «Лючию» или «Калинку»),
вновь забыть обо всем, что случилось до.

* * *

В этом доме давно нет жильцов и не
хочет действовать ржавый водопровод.
Лишь большие часы на гнилой стене
иногда будят крысу, что тут живет.

Иногда – потому, что она больна.
И лишь труп вы увидите на полу,
чуть войдя в эту комнату, где одна
прожила она в душном своем углу.

А еще до нее тут плел сеть паук,
но и он здесь не выжил, издох давно,
жизнь потратив без смысла – на ловлю мух,
коих здесь отродясь не бывало. Но

мне нельзя не любить этот дом, затем,
что он мой, что его уже не смогу
ни покинуть, ни сжечь, ни спасти ничем,
ибо это – пространство в моем мозгу.

* * *

Не Муза – если б так, – но просто блядь
заходит по ночам ко мне, и что мне
поделать, дорогая, как назвать
тебя, когда и имени не помню?

Ни имени, тем паче – черт лица
(какой позор! Какое упущенье!)...
И лишь одни глаза под цвет свинца
являются мне каждое мгновенье,

пока я сплю. Я просыпаюсь и
сажусь за стол. И тут она приходит.
И шепчет мне дурацкие стихи,
безжизненной рукой моею водит...

Потом я сплю до вечера, и вновь
за дверью жду шагов и, если вижу
ее, то говорю «входите», но в
душе шепчу тихонько: «Ненавижу!»

* * *

*Мой герой ускользает во тьму.
Вслед за ним устремляются трое...
Я придумал его потому,
что поэту не в кайф без героя.*

Борис Рыжий

Заштрихован дождем
и залит темнотой,
под дырявым зонтом
мой шагает герой.
Вслед бегут фонари
мокрой улицы вдоль,
только ярче горит
черным факелом боль.
Только глуше в ушах
металлический стук...
Он идет не спеша
и не смотрит вокруг
(вдоль трамвайных путей —
в никуда, в никогда).
Он улыбкой моей
искривляет уста,
что-то шепчет моим
алым ртом с синевой,
и не светит над ним
ни звезды. Всем чужой,
мимо желтых витрин,
в темно-сером пальто
так шагает один —
если б Некто — Никто.
Громыкает трамвай,

переходит в снежок
дождь. И эти слова
все печальней, дружок.
Больше нет ничего,
кроме слова *вперед...*

Посмотри на него, —
через миг он умрет.

* * *

Друг, подойди ко мне,
поговори со мной.
Друг, это трудно, не
плакать, когда бухой.

Плакать, смотреть в стакан, —
так лишь и можно жить —
музыку, сон, туман
не разбодяжив, пить.

Всех полюбить за то,
что ты не нужен им,
взять псевдоним «Никто»
и примириться с ним.

Что еще? Только мрак,
холод застывших слез,
бред... но его дурак
примет всегда всерьез:

будет дрожать, как мышь,
об пол стучать башкой...
Что же ты, друг, молчишь?
Поговори со мной.

* * *

Что там о Прекрасной
Даме? Дама стала
шлюхой, проституткой...
Ну, и что такого?

Грустью ежечасной
здесь поможешь мало:
от любого жутко
звука, взгляда, слова...

Лишь шепчу «о, Боже!»
или просто «мама!»,
обескровлен, бледен,
почти мертв до срока.

Я дремал, похоже...
А была ли Дама?
Или все – лишь бредни

Александра Блока?

* * *

Здесь от холода сводит конечности,
только белое перед глазами.
Это — род обезумевшей вечности,
так жестоко играющей нами.

Нет, не нами, а мной — получается,
вновь я лгу, но кому — непонятно.
Облака, что в зрачке не вмещаются,
из него выползают обратно...

А хотелось немногого: музыки,
чтоб не белое, а голубое,
чтоб слетались — не ангелы — музы ко
мне и плакали вместе со мною.

Но бессмысленно... Сводит конечности,
и — лишь белое перед глазами
Бесконечное небо без вечности.
Одиночество под облаками.

* * *

Я с Сепой Бухом водку пил.
Он наливал рукой дрожащей
ее в стакан и говорил,
что хочет жизни настоящей.

Не этой, говорил он мне,
где только пьянство да «колеса»,
где вместо звезд в твоём окне
маячит боль. И ты сквозь слезы

глядишь на законный мир,
такой жестокий, но прекрасный,
и нехотя бредешь в сортир,
чтоб вены бритвой безопасной

порезать, и покончить со
всем враз, взлететь над облаками...
И Сепы закрывал лицо
своими тонкими руками.

Стоял и плакал в тишине,
вниз по стене сползал безвольно...
И в то мгновение было мне
за Сепу нестерпимо больно.

Я понял некое родство —
теснейшее — меж ним и мною.
Что дальше? Дальше ничего
не будет. Только мрак стеною.

Мы равно с ним обречены.
Нас равно жизнь не привлекает,
хоть снятся сказочные сны,
и музыка в башке играет.

Наутро встанешь ото сна,
нальешь воды, опохмелиться
найдешь, и в выпитых до дна
глазах усталость отразится,

И будет грустно... Но зато —
пусть в этом радости немного —
я сочинил стихи про то,
как нам темно и одиноко.

* * *

М.Ч.

...А потом из-под арки
выходила она,
и тогда в сонном парке
начиналась весна.

Я стоял, улыбаясь,
ей уставившись вслед.
И тогда мне казалось,
что прекраснее нет

ничего в мире этом.
И твердил я себе,
что прекрасным поэтом
стану, лишь по тропе

мне навстречу, навстречу
застучат каблучки
в этот сказочный вечер
счастья, слез и тоски...

Вот и минули сотни,
может, тысячи лет,
только я и сегодня
тупо пялюсь ей вслед.

Я стою, как и раньше, —
идиот, эпигон —
и мне снится вчерашний
недосмотренный сон,

будто бы из-под арки
скоро выйдет она,
и в моем черном парке
вечно будет весна,

чьи-нибудь грянут струны
на скамейке впотьмах...
Упаду и умру на
ее нежных руках.

ПОЧТИ ЭЛЕГИЯ

Цветы завяли на окне
за желтой шторой...
Пейзаж пылится на стене,
а я, который

хотел бежать из этих мест
поближе к раю,
смотрю на пустоту окрест
и замираю.

А ты, которая стоишь
на заднем плане,
как будто статуя, молчишь.
Да, мы не станем

единым целым никогда:
мы лишь осколки
потерянного навсегда —
и только.

ПОЭЗИЯ

Евгений Капитанов



*Со мной
происходили
чудеса*

БУРАТИНО

Наш мир нарисован на грубом холсте.
Опасен твой нос, Буратино!
Нечаянно дырку пробьешь на звезде –
И сгинем во взрыве едином.
Немало и так понаделали дыр:
Усилилась мощь излучений.
Пронизан счастливый искусственный мир
Предчувствием вечных мучений.
Камин нарисован. Но лучше не тронь
Прикрытие для преисподней,
Где черти разводят зловещий огонь,
Послушные воле Господней.

ВЕСНА

Люди, птицы, ручьи воспевают пришествие
Теплых дней. Тает снег, тает лед.
И сияют таинственно личики женские,
Предвещая любовный полет.

Еще долго сердцам обучаться гармонии.
Но уже устремляются ввысь
Мысли, чувства, слова... Наподобие молнии,
Вслед за ними, душа, устремись!

Евгений Михайлович Капитанов родился в Ярославле в 1954 году, его предки родом из -под Ростова Великого. Окончив Ярославский государственный университет по специальности «физика», служил в армии, работал инженером на заводе «Машприбор», наладчиком ЭВМ, заведующим клубом военного госпиталя.

Первые стихотворения были опубликованы в 1993 году в областной газете «Юность». В 1994 году в Ярославле вышел в свет сборник стихов Е.Капитанова «Ищу свое лицо», затем автор опубликовал еще несколько поэтических книг.

Живет в Ярославле.

© Евгений Капитанов, 2005.

МАРТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ

Под желтою луной, немножечко лимонной,
По крышам бродит март со свитою котов.
Не привлекают нас усатые мадонны,
Но, видно, есть свой шарм у шерсти и хвостов.

Коты орут вовсю. О Боже, что за чувства!
Какая рвется страсть из маленьких певцов!
Чтоб небесам явить вигливый крик искусства,
Не нужно им ни шпаг, ни сказочных дворцов.

Я третью ночь не сплю, о мести помышляю.
Решил обзавестись огромною трубой.
Вот днем коты заснут... и тут я заиграю!
Пусть ходят и они с опухшей головой!

МОСТЫ

Я так боялся выглядеть смешным,
Что выглядел трагически-серьезным.
Бродя по неприятностям сплошным,
Отыскивал мосты на небе звездном.

А где-то рядом строили мосты
Те, кто мечтали до меня добраться...
Завидуя их действиям простым,
Я избегал строительного братства.

Я презирал бетон, стекло, металл
И разума холодные усилья,
Над стройкой я в фантазиях взлетал,
Своим двоим предпочитая крылья.

И видел сверху: мечется толпа,
Мосты возводит в спешке бесполезной...
Трагически-серьезная судьба
Подвластна лишь механике небесной!

* * *

Пурга с утра поигрывает снегом –
Швыряет в лица людям и домам,
Пронизана заботами о некоем
Чудесном мире, недоступном нам.

Чистейший снег, что нам ниспослан небом,
Скрывает грязь, отбеливая тьму...
О чуде фантазировать нелепо,
Послушаем-ка лучше тишину.

Ворчат ветра, стирая грань столетий,
Урчит пурга, съедая связь времен...
Земные дни встречают день последний –
Путь в небеса людьми преодолен!

* * *

Волнуема чувством полета,
Порхает листва неумело...
Откуда взялась позолота?
Вчера еще все зеленело.

Бросая родимые гнезда,
На юг устремляются птицы.
К неведомым тянутся звездам
Их точечные вереницы.

За птицами следом взлетая,
Листва устремляется выше –
И стая, почти золотая,
Прощаясь, танцует на крыше.

Порывами лютого ветра
Сорвав бенефис листопада,
Стихают надежда и вера
В аккордах осеннего сада.

ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ

Спросил я у него наивно:
«А будет на картине солнце?»
Он ничего мне не ответил,
Малюя дальше свой квадрат.
И – то ли он предвидел это,
А может, вызвал силой мысли –
Уничтожая царство света,
На землю опустил мрак.

Еще спросил я: «Где же люди?»
Мазки ложились зло и плотно,
За кистью следом тьма гуляла.
Он не ответил мне опять.
Холст, кажется, сопротивлялся,
Но меньше было белых пятен
И темнота в наш мир вползала
За пядью пядь, за пядью пядь.

Художник! Кисть макая в сажу,
Ты в черном небе гасишь звезды!
И в темноте исчезнуть может
Любой из нас, любой, любой.....
Твои трагические мысли –
Предтечи солнечных затмений.
Рисуй же солнце, царство света
И нас, играющих в любовь!

* * *

Нам в детстве так много не додали
Заботы, поддержки, любви.
И стали мы биоуродами,
Молящимися на рубли.

И все же скотами не стали мы,
Зверья от прожитых лет –
Под биопластмассой и сталями
Накоплены правда и свет.

Мы выживем, радуясь малому!
Скоты же с добычей большой
По пламени адскому, алому
Пойдут очищаться душой.

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

На улыбку отвечу улыбкой.
А на грубость? Да просто уйду.
Позолочены женщины-рыбки,
Золотую никак не найду.

Полно, старче, оставь свои шутки,
Остуди непомерный азарт!
Неземно, гипнотически-жутко
Золотятся у рыбки глаза.

В темноту городского колодца
Брошу невод: ячейки-рубли.
Три желанья. Все продается,
Кроме вечного чуда любви.

* * *

Замочные скважины телеэкранов
Раскрыли секреты, поведали тайны:
Мыслишки героев, делишки тиранов,
Интриги гостиной и шепоты спальни.

За вечером вечер... Со сладкою жвачкой
Влипаем, как мухи, в проблемы чужие,
Слегка позевав над заморской задачей,
Глядим, как ее супермены решили.

А после, за дверью квартирному рая,
И мыслится серо, и видится плоско...
Каналы мелькают, ключи подбирая
К наивно распахнутым скважинам мозга!

ЛОГИКА

Меня пытались логике учить,
Но я был бестолков и нелогичен.
Цветы, деревья, солнышка лучи
Со мной на языке общались птичьим.

Я восторгался, глядя на леса,
Стихи писал, обожествляя женщин.
Со мной происходили чудеса,
Любовь из них была наиважнейшим.

Я бился лбом о рифмы и людей,
Не веря риторическому лоску,
Сопrotивляясь натиску идей,
Вполне логично напивался в доску.

Спешили годы... Каждый новый стих
Переживаньем возвышая личным,
Я логику природную постиг –
И стал цветком! И начал петь по-птичьим!

* * *

Для утешения души
Мы служим злу по доброй воле...
Спокойной ночи, малыши,
Резвящиеся в алкоголе!

* * *

В бесполезно-больной суете
Устремясь в тридевятое царство,
Мы всеядно глотали не те
Яства, зрелища, вина, лекарства.

Шли по жизни, встречали не тех,
Назывались женою и мужем.
Наваждение плотских утех
Убеждало: но кто-то же нужен.

Ожидали заморских щедрот
В истерическом ажиотаже,
Унижали насмешкой народ
И готовили душу к продаже...

Сам такой и не мне осуждать.
День за днем добавляется повесть.
Время сеять, растить. Время жать.
Кто про что. Я про гордость и совесть.

СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ

Бесшумно кружатся снежинки
Над мельтешащею толпой,
Не отвлекаясь на ужимки
Людей, утративших покой.

Ни красотой, ни талантом
Им не дано нас превзойти.
Но горный мир своим десантом
Означил высшие пути.

Летя согласно воле ветра,
Десантники полны идей.
Их кристаллическая вера
Изящнее, чем у людей.

ПОЭЗИЯ



Евгений Бугров

С облегченьцем вас!

* * *

Нет в библиотеках моих книг,
В городе моих нетobelisks
И никто не пишет дивный лик,
Слава не подходит даже близко.

Не вручают грамот и наград...
Нет, я понимаю, что – не гений,
Но неужто весь народ не рад,
Что я есть и звать меня Евгений?

Верю, что составит протееже
Мне моя судьба, наверно, вскоре.
Я совсем недавно букву «ж»
Видал уже где-то на заборе...

ТАТУ

Стонала музыкальная Европа,
Девчонки покоряли высоту:
Две ноты, два притопа, три прихлопа,
Та эту на эстраде, а та – ту.

Евгений Викторович Бугров родился в 1952 году в городе Усть-Каменогорске Казахской ССР. В 17 лет стал артистом профессионального театра, в 1975 году окончил театральную студию в Киеве по специальности «актер драматического театра». Работал заместителем начальника театра Краснознаменного Северного флота, затем директором театра кукол в Мурманске. Учился в Ленинградском Государственном институте театра, музыки и кинематографии по специальности «экономика и организация театрального дела». В 1997 году переехал в Ярославль, где работал заместителем директора цирка, заместителем директора театра кукол. В настоящее время – заместитель директора Ярославского театра юного зрителя.

Литературным творчеством занялся в начале 90-х гг. прошлого столетия. Басни Евгения Бугрова публиковались в мурманских газетах, в сборнике «Мурманский берег», эпиграммы публиковала местная пресса, частушки звучали в передачах республиканского радио и телевидения. В 2003 году в Ярославле вышла в свет первая книга Е. Бугрова «Попов душит клопов».

Живет в Ярославле.

ЗАПЛАТКИ

У нас всего один сюжет,
Всегда одни итоги:
Зимой латаем наш бюджет
И круглый год – дороги.

АРМЕЙСКИЕ БУДНИ

Прапорщик Гулькин, вернувшись домой,
Стал раздеваться пред милой женой.
Сняв аккуратно армейский наряд,
Он показал благоверной свой зад.

– Ах ты, гулена! – вскричала жена, –
Что это? Сзади помада видна!
Гулькин в ответ ей: – Признаюсь тебе,
Я тут недавно сидел на губе...

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

Присев в тени под кленами,
Семеновна с Матреною
Вели интеллигентный разговор.
Сидели, балагурили,
Как в девках помурили,
Какой кому достался ухажер.

Семеновна – сто лет в обед –
Жила всю жизнь, не зная бед,
Вокруг нее крутились женихи:
И токари, и плотники,
И прочие работники.
Бывали и менты, и пастухи.

Матрене только сорок лет,
А уж не мил ей белый свет.
Один мужик, и тот – лентяй, осел.
И у Матрены все болит:
Гастрит, артрит, плеврит, колит...
Вот так и прожила – ни то, ни се.

И вот Матрена говорит:
– Как сохранила ты свой вид?
Тебя совсем не тронули года!
Скажи, старуха, в чем секрет? –
И ей Семеновна в ответ:
– Так я же не ломалась никогда!

КАК ЖИВЫЕ

*Женский, легкий, веселый затылок
На моей отдыхает руке.
Ведь не кукла, и не из опилок,
И румянец на влажной щеке!*

Александр Кушнер.

Как она мне легла на колени?
Ей, должно быть, за двадцать уже...
С виду – женщина, тут без сомнений,
Да еще и совсем неглиже.
Задышало румяное тело,
Рядом с нею мне стало тепло.
Не из ваты, видать, раз вспотела!
Да и я еще... раз потекло.

ИСТОРИЧЕСКАЯ КАНОНАДА

*Вижу давних времен опушку.
Плачут кони. Горят дома.
Разрядите меня, как пушку,
А не то я сойду с ума.*

Сергей Островой.

Как летел я в свою избушку!
В животе был сплошной компот.
Я увидел времен опушку –
Вот как сильно болел живот!
Кто назвал это «диареей»,
Тот не вник глубоко в процесс.
Я на стену лез, фонаря!
Ох, куда я тогда не лез...
Заработала батарея!
Стихло все и возник сонет.
Захотелось писать хореем.
– С облегченьцем вас, поэт!

СКОТЫ

*Так признаемся честно себе,
Созерцая ревущее стадо:
Каждый скачущий в этой толпе –
Это наше забытое чадо.*

Евгений Чеканов.

Встретил в поле я как-то быков –
Шло на ферму ревущее стадо.
И увидел я в поле сынков.
Не признали меня мои чада.
Старший – с телками, младший – в кусты...
Скачут парни мои по поляне.
Ну, ей-богу, какие скоты:
Хоть бы кто-нибудь «мукнул» батяне!

ВСТРЕЧА С ЕСЕНИНЫМ

*А вдали пейзаж осенний,
Ветер листья носит, воя.
У окна стоит Есенин,
Повторяя: «Кто я? Что я?»*

Валерий Хатюшин.

Приоткрылись двери в сени,
Кто-то снял за дверью боты.
Я смотрю: стоит Есенин,
Повторяя: «Где я? Кто ты?»
Я сказал ему: «Валерий,
А фамилия – Хатюшин!»
Он захлопнул в сени двери
И сказал: «Садись и слушай!»
А когда он, еле-еле
Протрезвев, ушел по лужам,
Я подумал: в самом деле,
Кто я? Что я? Нахрен нужен?

ПРОЗА



Вячеслав
Арсентьев

Не узнаёшь, мать?

Рассказы

ОКНО

К середине зимы Анна совсем стала плоха. Уже не бродила по дому, а больше лежала под теплым ватным одеялом, дремала, поднималась только тогда, когда приносили в ее комнату чай, кашу да соленые огурцы (другого в рот не брала), на ведро ходила редко. Сделалась худой и молчаливой.

Раньше, до больницы, она тоже много лежала, зато охотно вступала в любые разговоры, иногда открывала «Евангелие» и отрывной настенный календарь и, поместив на кончике длинного горбатого носа очки, негромко бормотала.

Потом ее отвезли в больницу, брали какие-то анализы, прослушивали, но, так ничего и не обнаружив, к началу зимы отпустили домой. Она поняла: умирать. Однако не расстроилась, была совершенно равнодушна к своей судьбе и спокойно ждала смерти. Она знала, что в семьдесят пять покидать этот мир совсем не рано. Мать покинула его в шестьдесят, отец — в семьдесят, брата убили на войне в двадцать, муж бросил ее в молодые годы, а сам помер на стороне где-то в пятьдесят, так что она отжила больше их всех.

Вместе со снегом пришли морозы, и окно ее комнаты с видом на старый дровяник покрылось матовыми узорами. Теперь мир сузился до пределов маленькой комнаты, где даже днем господствовал полумрак. Соседи и знакомые заходили все реже и реже, и она несколько раз в день видела только дочь, иногда зятя и внука. Сын, живший рядом, заходил нечасто. Предоставленная сама себе, Анна заполняла свое одиночество воспоминаниями

Вячеслав Арсентьев (Вячеслав Николаевич Мешалкин) родился в 1952 году в костромской деревне Селезенево. После окончания филологического факультета Костромского педагогического института пять лет учительствовал в сельской школе, затем возглавил Поназыревский райком ВЛКСМ. В 1983 - 1985 гг. учился в Горьковской Высшей партийной школе, после окончания которой работал в райкоме партии на разных должностях. Избирался секретарем Поназыревского РК КПСС.

После августовских событий 1991 года вернулся в школу, преподавал историю и литературу в старших классах. С 2002 года редактирует Поназыревскую районную газету «Районный вестник». Член Союза журналистов России.

Стихи и рассказы В. Арсентьева публиковались в областной периодике и коллективных сборниках. В 2001 году в г. Шарья увидела свет его первая книга — «Провинциальные истории». Через два года там же была опубликована книга рассказов В. Арсентьева «Фролов день на родине».

Живет в поселке Поназырево Костромской области.

о прошлом. Никаких болей в теле она не чувствовала, кроме общей старческой слабости и постоянного шума в ушах, но, в то же время, не испытывала никакого интереса ни к чему. «Аппетиту нету», — говорила она, когда приносили еду. Равнодушие и апатия ее были настолько сильными, что она с трудом заставляла себя сходить на ведро.

Через плохо прикрывавшуюся дверь Анна иногда слышала, что говорили о ней самые близкие. «До весны не дотянет, совсем как доска стала», — вздыхала дочь. Вечно выпивший зять громко возражал: «Не скажи! Вон, годами старухи -то лежат!» А сын добавлял: «Сухое полено быстро горит!»

В марте в ее комнату стало заглядывать солнце. Окно очистилось, и старуха часами глядела на серую сырую крышу сарая; снег там с каждым днем убывал. Иногда на конек садилась сорока, крутила черной головой и улетала. А выше конька крыши простиралось бесконечное небо, днем почти всегда чистое, бездонное, а к вечеру покрытое высокими кучевыми облаками. Облака, клубясь, перемешиваясь, наползая друг на друга, создавали причудливые картинку, разыгрывали порой целые представления, виделись в них люди и животные. И вдруг бабке Анне так захотелось увидеть людей и реальные сцены поселковой жизни!

Окно другой маленькой, внуковой, комнатки выходило на улицу. Внук учился в городе и приезжал только на каникулы. И вот Анна попросила, чтобы ее «перевели» туда. Ей постелили на диване, и теперь она, опираясь спиной о подушки, могла часами наблюдать за улицей. Там было намного интересней, чем во дворе. Проезжали машины и проходили люди. Многих она знала и, присмотревшись, узнавала. «Алька -то себе, видно, новый плащ купила, не видала на ней такого. Вот форсит! Вот форсит! Полст а лет, а все наряды на уме», — говорила она себе, провожая взглядом соседку из дома напротив. — «Мишка, бес окаянный, опять пьяный идет. Ишь, качается, и нога за ногу! Зинка ему баню счас устроит!» — бормотала Анна в другой раз, узнав молодого мужика с их улицы. — «А это чего Ивановым привезли? Поди, опять сахарный песок! Али муку?», — терялась она в догадках, потому что не видала из-за машины, что именно понесли Ивановым в дом.

Просыпаясь рано утром, она занимала свой наблюдательный пункт и с интересом смотрела на весеннюю просыхающую улицу в ожидании прохожих и мелких происшествий. Бежали школьники с ранцами за спиной, проходили взрослые на работу и с работы, брели старики, разномастные собаки шныряли туда -сюда. «А Егоровы своего волкодава опять с цепи спустили. Ребятишек ведь покусает! — говорила она дочери за завтраком. — В том годе Сашку Пронина покусал, а они опять отпускают. Что за люди!»

Она съедала кашу, выпивала чай и опять с интересом выглядывала в окно. У нее появилась забота и ... работа. Ей вдруг сделалось интересно жить. Она реже стала уходить в себя: некогда было! Прикрыв глаза, думала: «Чего это там у Опариных мужики -то собрались? Или этот книгочей Волков опять мужиков политикой балует? А может, новую баню будут ставить? Вон, сруб -то у пруда — уже готов!»

В начале мая, на Пасху, она рано (все еще спали) поднялась с дивана, встала босыми ногами на прохладный крашенный пол, постояла минуту, привыкая к вертикальному положению и, опираясь руками на стену, печку и комод, побрела в прихожую, где в углу висела икона Спасителя.

С этого дня бабка Анна начала ходить.

ЯЩИК ПАНДОРЫ

Это было совсем давно, в моем далеком детстве. Но я хорошо помню, что было это летом, вечером. Сухим, теплым летним вечером. Почему -то мне в память особенно врезалось: совершенно чистое небо, дорога, раскаленная за день, пыльная -пыльная, а по краям ее — желтая, и тоже пыльная, рожь. Я на велосипеде. Мать впереди несет тяжелую сумку с буханками хлеба, какими -то крупами и мороженой рыбой. Она устала, я это вижу, но взять сумку не могу, потому что мы с ней только что поссорились. Мне очень жаль

мать, до слез жалко, хочется ей помочь, ведь я за тем и приехал, чтобы увезти эту тяжелую сумку, а забрать ее не могу, потому что обидел мать, накричал на нее, отпихнул сумку еще у магазина: что-то мать сказала или сделала то, что мне не понравилось. И от того, что я ее обидел и что страдаю от этого, мне хочется обидеть ее еще сильнее, не понимаю, почему. Я подъезжаю к ней, говорю грубости, задеваю колесом сумку, мешая идти...

Потом я уехал, оставив мать, бросил велосипед у ограды дома, убежал в лес и долго, горько плакал.

* * *

Была компания, было вино и была она. Всем было весело и хорошо, особенно ей. Такой веселой, такой непосредственной, такой счастливой я ее еще никогда не видел. Мы станцевали в последний раз. Друзья распрощались и ушли, и она стала собираться и попросила, чтобы я ее проводил. Но мне вдруг захотелось, чтобы она осталась, хотя бы ненадолго, хотя бы на полчаса. Мне хотелось ее видеть рядом одну, сказать что -то необыкновенное, выразить словами ей то, что у меня неясно бродило в голове и наплывало на сердце. Совсем немного и нужно мне было. Полчаса, всего лишь каких -то полчаса! Я пошел в соседнюю комнату к магнитофону и включил легкую музыку. Когда вернулся, она стояла уже одетой.

— Подожди немного, — сказал я и поцеловал ее.

— Нет, идти надо, уже поздно, — грустно ответила она. В эту минуту она была великолепна! Не вино во мне сделало ее такой: она действительно была в эту минуту хороша — в короткой заячьей шубке, в меховой шапочке, уши которой завязывались под подбородком, с двумя смешными помпончиками на толстой нитке, с черной прядью непослушных волос, упавших на лоб, с узенькими темными бровями над большими наивными глазами.

— Совсем немного, и сними шубку.

— Но уже поздно, — повторила она и грустно улыбнулась.

— Ничего, совсем немного, и выпьем, вино осталось!

— Только на минуту, — она присела на стул. — Ты выпей, я не буду.

Я выпил большой стакан, потому что в одну секунду что -то во мне перевернулось, и уже не было на душе этой необъяснимой легкости и всеохватывающего ликования, и разом пропало желание говорить. Что она плохого сказала или сделала? Она оставалась той же, милой, с ласковым взглядом. Той же...

— Ты что такой нахмуренный? — спросила она, когда мы вышли под огромную мартовскую луну.

— Ничего. Так, — у меня всегда лишне выпитое усиливает раздражение.

Нет, что она такого особенного сделала или сказала? Ну что? Что? Почему у меня разом испортилось настроение? Она должна была выпить со мной?

Совсем мне не того хотелось. Чтобы осталась? Да нет же, нет! Не это совсем! А что? Ну что же?!

— Помнишь, у Чехова есть рассказ «Госка». Там извозчик Иона пытается о своем горе пассажирам поведать. А его, — я начал говорить громко, с нескрываемым раздражением, — скоты бездушные, ослы длинноухие не слушают! Понимаешь, им, этим животным, до Ионы дела нет!

— А к чему ты про Иону? — спросила она и взяла меня за руку.

— А к тому, что ты — дура!!

Это получилось само собой, ничего подобного я говорить не собирался .

— Что?! — она растерянно посмотрела на меня и выпустила руку. — Ну и не провожай дуру, умный!

Ее голос дрогнул. Дрогнул! Я вдруг ясно почувствовал, осознал, понял, что обидел ее, обидел человека, ближе которого для меня не было никого на свете. Зачем так? Да и почему? Мне стало ее нестерпимо жалко. Но уже потому, что только что ее обидел, я не мог просто поцеловать ее и сказать: «Прости! Случайно это ... вырвалось!» Не мог, тем более не мог сказать: «Прости!» Какие тут извинения! Это кто -то другой может обидеть и тут же попросить извинения: ему все равно. Я не мог. Я сделал другое:

— Ну и катись одна. Такая же ослица, только уши подлиннее! Ах, идти надо, ах, поздно! Вали, вали и ищи осла, ка -ра-ле-ва неприступная.

Мне стало горько нестерпимо.

— Знаешь, знаешь! После этого!.. — в ее голосе стояли слезы и в больших темных глазах стояли слезы. Она почти побежала вперед.

— Подожди! — я догнал и схватил за руку. — Я все-таки провожу тебя, дуру, чтобы волки дорогой этакое сокровище не задрали.

И я потащил ее грубо, как тащит пьяный мужик бабу, и говорил с наглостью распоясавшегося мастерового то, что никогда бы не сказал последнему подзаборнику.

Я ее любил, и любил искренне и глубоко — так, как можно любить только раз в этой земной жизни. И смешивал в себе самое прекрасное с грязью, и над собой изгалялся пострашнее средневековой инквизиции, и платил...

И теперь, годы спустя, мартовская луна все так же огромна и светла, и все так же бело под нею тихое и одинокое поле, и темен и таинственен лес на краю его. Все так же. Только нет на деревенской промерзшей дороге меня и плачущей восемнадцатилетней девочки в заячьей шубке и меховой шапочке со смешными помпончиками...

* * *

Я помню мать теплой летней ночью. Даже помню запах ее рук. Они пахли парным молоком и еще чем-то, родным-родным.

— Что, дурашка, где пропал-то?

Я пил молоко прямо из кринки, сидя за столом в кути уже уснувшего дома, и исподлобья смотрел на мать. Именно исподлобья, насупившись, и все еще как будто обижаясь на кого-то. Я любил мать бесконечно и сделал бы для нее тогда что угодно. Но мать ни о чем не просила и даже — не упрекала. Она сидела рядом и вздыхала.

Прощения я у нее не попросил.

Было это в детстве. Летом, теплым, сухим летом, которое не может повториться никогда.

Не узнаёшь, мать?

Николай Савельев получил телеграмму: умерла мать. Очень расстроился. В деревне последнее время она жила одна, а Николай по разным причинам (то дачу достраивать надо было в отпуск, то до родственников жены прокатиться, то халтура хорошая на свободные дни выпадала — он был неплохим токарем) не мог ее навестить в последние пять лет ни разу. Отбил ответную телеграмму сестре матери, тетке Матрене, чтобы ждали, без него не хоронили. Езды с пересадками — не менее двух суток. Жена наказывала: «Дорогой-то не пей!» — но как русскому человеку в тоскливом одиночестве провести столько времени?

Уже в поезде он с горя выпил. По этой причине в Москве попал в милицию. Телеграмма помогла: отпустили все же.

В Мантурове пришлось долго ждать автобуса. Зашел в кафе пообедать, прихватил с собой бутылку водки и, разбавляя пивом, высидел ее один.

До Макарьева добрался в сумерках, автобус на Нею уже ушел. В привокзальной забегаловке еще выпил, мало закусывая. Вышел на улицу, не совсем ясно соображая, что

делать дальше; закурил под козырьком станционной постройки. Разошелся давно накрапывавший холодный октябрьский дождь, такой мелкий и унылый, что Николаю захотелось в тепло, к людям, в какую-нибудь шумную компанию, где нет тягостного ожидания и неприятной заботы. Но надо было как-то попадать в деревню: заканчивались третьи сутки его поездки.

Он взял бутылку водки и вышел на шоссе. Может, подвезут; в их сторону сейчас шло немало машин, кто-нибудь да согласится подбросить за хорошие деньги. Молодой парень на «Ниве» согласился довезти до поселка, а там с километр до деревни — дойти не проблема.

Стольник отдал сразу. Устроившись на заднем сидении машины, молчал, прикладываясь к горлышку «Столичной». «Ниву» покачивало на поворотах и выбоинах, монотонно скребли «дворники», глухо шипели и однообразно бжикали встречные машины. Клонило в сон. Мысли были какие-то пустые, случайные. Николай вдруг на минуту провалился в забытие, а вынырнув оттуда, не мог сразу сообразить, где он. Но потом вспомнил, что едет хоронить мать, что младшие брат и сестра, с которыми он не виделся лет десять, наверное, уже там, и завтра все это произойдет. Вспоминался почему-то отец, умерший, казалось, так давно, оставшийся в каком-то нереальном, туманном мире, где еле-еле мерцало и его, Колькино, мифическое детство. Вспоминался отец совсем молодым, намного моложе, чем сегодняшний Савельев. Будто бы входит батя в дом, пристраивает топор у маленькой печурки, чтоб с него сошла наледь и, пропахший смоляным духом, свежими сосновыми стружками и морозом, берет его, маленького Кольку, на руки. И еще вспомнилась река ранней весной: глыбы льда, вытолканные бурным течением на пологий берег, на низкий полузатопленный ивняк. Отец, сидя на корме лодки, сильно гребет длинным веслом. Они едут проверять сети...

Он пытался представить мать, но образ ее или вовсе не появлялся или, появившись, тут же пропадал, смутный, будто в тумане.

От шоссе шла грунтовая дорога к деревне, но он решил идти напрямки, по тропке, хотя темнота стояла — хоть глаз выколи. Лишь где-то на западе светлело небо, там был город. Николай допил бутылку, швырнул ее за асфальт, посидел на грязных, сырых камнях придорожной насыпи и полез через глубокий овраг в сторону деревни. Восемь лет бегал он через этот овраг в школу, знал на тропке каждую канавку, ямку, каждый кустик рядом с ней. Знал. Но сейчас осенняя ночь и водка, вдруг разом оглушившая голову, по глине скатили его в овраг, к чуть слышно лопатавшему ручью. Перевернулся несколько раз, потерял сумку. Грязный, мокрый, едва поднялся на ноги и, уже не зная точно, в какой стороне деревня, полез наугад. Поскользнулся на мокрой траве и скатился вновь к ручью.

Сколько раз делал попытку выбраться из оврага, он не считал. По шуму машин на шоссе, наконец, догадался, что ползет к дороге, в обратную от деревни сторону. Одна грузовая машина едва его не задела; он шел в распахнутом грязном плаще, без шляпы, то забегая вперед, чтобы не упасть, то вылетая на обочину, чтоб не столкнуться с машиной, которая сигналила и притормаживала, когда он попадал в свет фар. Он уже не понимал, зачем он здесь, но вместе с тем знал, что в деревне — мать, и что в родном доме — тепло. «Мам! Mam! Mam! Счас приду!» — бормотал он, шлепая уже по грунтовке.

Деревня встретила его полной темнотой и молчанием, даже ни одна собака не залаяла. Свернул в переулок, справа должен быть их дом. Вот и мокрый, скользкий, старый забор, калитка скрипнула, открываясь. С мокрых яблоней падали крупные капли. Вот и крыльцо знакомое, обычно, деревенское, без дверей и перилец, с пятью ступеньками вверх.

Николай нащупал скобу, пихнул коленом дверь на мост, она не поддалась. Подергал за веревочку — не поддалась. Тогда он бухнул в дощатую дверь кулаком; дверь задрезбалась. Он пнул ботинком, потом еще раз. В избе зашевелилось, скрипнуло, пахнуло домашним теплом, и испуганный голос с тарухи спросил:

— Кто?
— Мам, открой!
— Да кто это, милый человек?
— Да открой, мам! Чего, не узнаешь?
— Да кто это в самом деле? — старуха поняла, что стучит пьяный и не свой, деревенский, а чужой, видно, с трассы, и испугалась.
— Да это я, Колька! — уже зло, раздраженно ответил Савельев. — Замерз, как собака!
— Чей Колька-то? Не узнаю я.
— Во, мать, даешь! Сына родного не признала. Кольку Савельева не узнаешь что ли!?
— Коленька! Андел! — запричитала старуха, включила свет и сняла за-сов. — Ты перепутал дом-то, андел! А это я, соседка ваша, Дуня Ручкина... Коленька, милый сын, а Лидью-то прошлым днем ребята похоронили. Саша да Нина. Посчитали, что с тобой что-то случилось дорогой, раз вовремя не приехал. Как ждать -то было?..

Савельев стоял в проеме двери, весь на свету, сырой, грязный, продрогший. Наконец, до него дошел смысл того, что говорила бабка Дуня. Он медленно, цепляясь испачканными глиной, холодными пальцами за косяк, начал сползать на порог. Встал на колени без сил и сначала тихо, как выброшенный из конуры щенок, тонко и жалобно заскулил. А через минуту одинокий, полный страдания, тоски и отчаяния нечеловеческий вой вылетел в черноту пустынной улицы.

ГРИБЫ НА САЛЕ

Вера Андреевна давно привыкла вставать рано: хозяйство и дети приучили к тому. И в этот майский день она проснулась в шесть часов. Подоила козу и привязала ее к березе у пруда напротив дома, сварила манную кашу на молоке, подняла детей в школу. Старший, семиклассник Димка, от каши отказался, позаглядывал на полки в шкафу и, не найдя сладкого, запил горбушку черного хлеба теплым жидким чаем. Сделал все молча, никого не упрекая и не возмущаясь. А вот третьеклассница Юлька и пятилетний Сашка заканючили: опять каша да молоко с черным хлебом!

Вера Андреевна чувствовала себя виноватой перед детьми. Картошка закончилась еще в апреле — уродилась плохо, да три мешка Егор пропил, осталась только семенная; зарплату последний раз выдавали в марте. Денег в доме не было ни копейки. Спасала коза да добрые люди, у которых удавалось перехватить на хлеб.

По дороге на работу у магазина ее окликнули. От пивного ларька, что скрывался за магазином, нетвердой походкой к ней шел муж Егор. Был он в запое недели три, последние два дня дома не ночевал. Не здороваясь, держа руки в карманах засаленного пиджака, сразу объявил:

— Вер, червонец дай!
— Живой? — устало спросила Вера Андреевна, оглядывая невзрачную фигурку мужа в стоптанных кирзовых сапогах и затасканной вязаной шапочке -«петухе».
— Дай червонец! — повторил Егор, не отвечая. — Мужикам должен.
— Откуда у меня деньги? Знаешь же, что зарплату не давали, — устало сказала она.
— Дай, говорю, змея! Мужики ждут! — не слушая жену, зло повторил Егор и достал из кармана грязный кулак. — Подколодная, говорю, дай! Гадюка!

Вера Андреевна отвернулась и пошла своей дорогой, не обращая внимания на то, что кричал ей вдогонку Егор. Она давно привыкла к подобным сценам. Ее заботило другое: где сегодня взять денег на хлеб и сахар. Зарплату обещали к концу мая, а где -нибудь к середине июня выдадут отпускные. Потом огород поможет, потом — лес, к августу появится своя картошка. Будет легче, намного. Но как дотянуть до конца мая? У кого еще можно перехватить? Кто мог, тот дал. Не пойдешь же просить еще раз. В администрацию

района ехать? Но, во-первых, надо еще найти денег на автобусный билет. А во-вторых... она уже как-то пыталась получить хотя бы «детские». К главе тогда не попала: день оказался не приемный. А заведующий отделом образования только развел руками: «Что я могу? Я районными финансами не командую!»

Второй урок, математика, был почти сорван. Вера Андреевна вдруг заметила, что Саша Пискунов все время отвлекается, что-то рассматривает у себя под партой, лишь изредка делая вид, что его интересует задачка о мандаринах и яблоках.

— Что там у тебя, Саша? — спросила Вера Андреевна. — Что ты все время отвлекаешься? Что у тебя на коленях?

— Ничего.

Саша Пискунов положил руки на парту, в левом зажатом кулаке явно что-то было.

— Что там? — повторила Вера Андреевна.

— Ничего! — повторил Пискунов.

Диалог, наверное, на этом бы и завершился, если бы не всезнающая и шустрая Катя Белова.

— У него золотая цепочка! — крикнула она со своей, третьей, парты.

— Что? Я не ослышалась? Откуда у Пискунова золотая цепочка?

— Он ее у Красовского в битву выиграл! — пояснила всезнающая Катя.

Пришлось проводить «следствие», в ходе которого выяснилось, что, действительно, Саша Пискунов и Герман Красовский играли в новомодную игру, недавно захватившую вдруг начальные классы. По условиям ее, стопку поставленных картонных фишек ударом тяжелого предмета нужно перевернуть так, чтобы фишки показали картинки с нижней стороны. На кон ставятся как сами фишки, так и любые другие предметы: ручки, карандаши, резинки, брелки, цепочки. Оставалось выяснить, как столь дорогая вещь — цепочка на самом деле оказалась золотой — попала в руки Красовского. То, что в их доме полно ценных вещей, ни для кого секретом не являлось, поскольку отец Красовского уже несколько лет торговал лесом.

— Папа подарил, — стоял на своем в кабинете у замдиректора по воспитательной работе Герман.

— Как он подарил? На день рождения? Или на праздник? А может, ты просто взял? — пыталась выяснить Лидия Николаевна, главный школьный воспитатель, женщина опытная, энергичная, но почему-то выглядевшая всегда усталой.

— Просто так подарил! — упорствовал Красовский.

— Как так? Вот тебе, Герман, подарок за хорошую учебу! Так что ли? — иронизировала Лидия Николаевна над второгодником Красовским.

«Следствие» завершилось тем, что зареванный Герман Красовский со словами: «Папка придет, всех вас... поставит!» — выбежал из кабинета. И Вере Андреевне пришлось его ловить по школьному парку, успокаивать и уговаривать. А он орал из кустов чайной розы всякие дерзости, хлопал себя по круглому заду, потом крикнул: «А тебя в следующий раз просто в форточку выкину!» — и убежал.

На общешкольном методическом совещании Вера Андреевна сидела расстроенная (успела получить внушение у директора: Красовский-старший был главным спонсором школы), плохо слушала молодого завуча, жену недавно приехавшего в поселок участкового. Та объясняла учителям, как следует планировать урок и добиваться нужной эффективности, какие существуют методические рекомендации. «У кого еще можно занять? — задавала себе вопрос Вера Андреевна. — Кузнецовы, соседи, пенсии завтра получают, не откажут. У них что ли? Да не удобно вроде: у них уже брала и пока не отдала». Родители Веры Андреевны давно умерли, а Егоровы отец с матерью жили далеко, в Казахстане, другом государстве, по нынешним реалиям.

— Вот у Веры Андреевны Надеждиной, например, — сильный голос завуча и названная фамилия заставили Веру Андреевну вернуться из дум и забот в класс, — на уроках отсутствует педагогико-психологическая установка на деятельность, не всегда

прослеживается внутренняя логика, продуманность подаваемой темы, отсутствует оптимизация задач и целей... Необходимо акцентировать внимание учащихся на главных вопросах, основных фактах, понятиях, выводах, делать краткие записи, зарисовки на доске, на конкретных примерах учить учащихся отличать существенные признаки от несущественных, второстепенных... — « Попрошу у Нины Акимовны, завхоза, рублей двадцать. Не откажет. У нее муж шофером в частном магазине работает, хозяин хорошо и регулярно платит», — вновь уходила в свои заботы Вера Андреевна. — Необходимо советовать учащимся при домашней подготовке обязательно проверять степень усвоения учебного материала путем составления плана прочитанного и пересказа главных мыслей, — громко и монотонно читала бумагу завуч.

Ей повезло: Нина Акимовна оказалась на сегодня при деньгах. К пяти часам вечера Вера Андреевна с двумя булками черного хлеба и полкилограммом сахара была дома.

— Голодная, поди? Целый день на каше! — на маленькой кухоньке Димка деловито выгрузил покупки и поставил на газ большую чугунную сковородку. — Счас грибков разогрею!

— Грибы? — растроганная вниманием сына, удивилась Вера Андреевна.

— Да! — гордый, что удивил мать, подтвердил Димка. — Мы с Юлькой сразу после школы в лес махнули. По краю дороги, знаешь, какие сморчки! Ведь хавать -то что-то надо! А сморчки жареные идут за милую душу. Вон отец, чуть ли не полсковороды оплел. Лежит дрыхнет.

Вера Андреевна заглянула в спальню. Там прямо на покрывале низкой кровати, уткнувшись лицом в подушку, нераздетым спал Егор.

— На чем жарили-то? — как бы машинально, уйдя опять в свои мысли, спросила она.

— Папка кусок свиного сала откуда-то притащил. Правда, желтое. Видно, старое. Да ничего! Все лучше, чем на воде!

К шести часам вечера Димка привел из садика Сашку, и тот, уловив чутким носом жареное и вкусное, доел остатки грибов, потом стал помогать матери поливать рассадник и ломать молодые побеги ивняка у пруда для полуголодной козы. В семь Вера Андреевна села за тетради, рядом делали уроки Димка и Юля, в углу комнаты Сашка складывал в картонный ящик деревянные игрушки, за ситцевой занавеской храпел и матерился во сне Егор.

Первой почувствовала недомогание Юлька. Она несколько раз сбегала на улицу, а сидя за столом, иногда подтягивала ноги к животу и ерзала на стуле. Но никто не обратил на это внимания. Вдруг Димка пулей вылетел на улицу, а когда вернулся, по бледному лицу его мать поняла: что-то неладно.

— Чего-то живот крутит! — пояснил Димка.

— И у меня болит, — сказала Юлька.

Вера Андреевна взглянула на притихшего вдруг Сашку — и ее прошиб пот. Сашка сидел на полу и, задрав рубашонку, рассматривал свой животик.

— Что, Сашенька?! Что?!

— Билит!

— Как? Где?!

— Тута! — Сашка положил свою маленькую ладошку на низ живота.

Вера Андреевна бросилась в спальню.

— Егор! — она с силой ударила справа, слева по заросшим щекам мужа. — Егор!

Тот едва продрал осоловелые глаза, не понимая, где он и что происходит. Узнав жену, хотел было раскрыть рот, чтобы выплюнуть свое обычное «Змеюка!», но она, огрев его еще раз по щеке, крикнула:

— Ребята отравились! Грибами! Ты-то ел?!

Она вдруг сама почувствовала тошноту, а потом тупую боль в животе и, не дожидаясь ответа, бросилась обратно в комнату. Ребята, бледные и притихшие, сидели на диване, только Сашка водил рукой по животу и плакал.

Все последующее вспоминалось ей потом как дикий, нереальный, кошмарный сон. Она хотела было бежать к фельдшеру Марье Дмитриевне, а это на тот конец поселка, но из-за сильной боли и навалившейся неожиданно слабости сама свалилась на диван, рядом с плачущими детьми. Очень хотелось пить. Сухими губами она почти прошептала:

— Егор! «Скорую» надо!

Егор, растрепанный, злой, похмельный, сидел на кровати и из-за отдернутой занавески смотрел на то, что происходило в комнате. Наконец, сообразил, что никто его не разыгрывает и дело совсем не шуточное. Со словами: «А меня че не крутит?» — пошлепал из дома.

«Скорая» пришла только к двенадцати ночи. А утром в реанимации районной больницы умер первый ребенок, пятилетний Сашка.

МИЛАЯ МОЯ

Виктор Александрович Воронцов возвращался из Рязани, неделю гостил там у брата. В Шарье пересел на «Соликамский», который делал остановку в его поселке. Прошел по полупустому вагону и выбрал себе купе, где у окна одиноко скучала женщина. Почти не взглянув на нее, поздоровался и сел напротив, по своему обыкновению уставился в оконное стекло. За стеклом мелькал давно изученный осенний пейзаж: кустарник, голый березняк, в низинах хвойные заросли, полянки со стожками серого сена, станционные постройки — все, что на русского человека навеивает тихую грусть, а иногда и тоску, в зависимости от настроения. Сейчас Воронцов просто грустил в дреме: минувшей ночью почти не спал, попутчики попались веселые. Он откинулся на спину, к холодной стенке купе, и услышал:

— Простите, вы... не Воронцов?

Спрашивала женщина напротив. Он открыл глаза. Женщина улыбнулась, и что-то как будто знакомое было в этой улыбке, до удивления знакомое. Лицо приятное, небольшие серые глаза, чуть вздернутый нос, высокий чистый лоб и светлые волосы с завитком у виска.

— Да Виктор же! Что ты молчишь-то!?

Она улыбнулась, обнажая белые ровные зубы под чуть припухшей верхней губой, и когда он увидел родинку на шее, с правой стороны, сомнений не осталось — она!

— Катя!?! — спросил и ответил себе он одновременно.

— Да конечно! А я смотрю, смотрю, он не он, а он даже в мою сторону не повернулся!

— Как, куда, откуда? — быстро спросил он, его взволновала неожиданность этой встречи.

— Навестила маму, а вот теперь домой, в Киров...

А дальше пошел тот разговор, какой обычно бывает, когда встречаются два давно не видевшихся и в прошлом очень знакомых человека, — о себе, где работаешь и нравится ли работа, о семье, о детях, сколько их и где учатся, о зарплате и ценах, об общих знакомых, кто и где пристроился в жизни. Типичный для таких случаев разговор — повод вспомнить прошлое, возможность быстро провести время.

Он говорил, слушал и внимательно всматривался в еще довольно привлекательное и теперь сразу ставшее таким знакомым ее лицо. Да, она, конечно, погрузнела, наметился второй подбородок, кожа на щеках чуть отвисла, на руках стала тоньше, с характерным для возраста блеском, и пальцы уже не те, не девически тонкие. Но все еще выглядела привлекательной и даже, для женщины ее лет, интересной. Женщина как женщина,

миловидная, не больше того. И не умна вовсе, судя по ее жизненным интересам и пристрастиям. А ведь двадцать пять лет назад...

Двадцатидвухлетний Виктор Воронцов приехал работать инженером в совхоз «Пригородный» в конце сухого, теплого августа. Его определили на квартиру к деду Ивану, совхозному пенсионеру. Виктор себя чувствовал великолепно: позади институт, зачеты, экзамены, защита диплома, впереди — огромная, наполненная интересной работой и победами, жизнь.

С фельдшером медпункта Катей Нестеренко, невысокой симпатичной блондинкой, он познакомился у кого-то на дне рождения. Начались свидания, провожания, долгие ночные стояния у забора дома, где жила Катя, потом — совсем невинные поцелуи. Через два месяца он понял, что основательно «втюрился». Ни в старших классах школы, ни в институте Виктор серьезного внимания девушкам не уделял: все недосуг было, страсть к учебе вытесняла все другие страсти. А тут сразу время появилось: придет с работы, и все долгие осенние и зимние вечера — с ней. Тянуло к ней нестерпимо, видеть ее хотелось постоянно, ежечасно, ежеминутно. Ревновал жутко. Если Катя уезжала по делам в город, ему уже казалось, что непременно — на свидание, что есть там кто-то еще, какой-то его счастливый соперник...

Мартовскими лунными ночами они уходили по насту в лес, дурачились, раскачивались на холодных обледенелых деревьях, он носил ее на руках, проваливаясь по колено в ложбинах, где снег не был укатан ветром и схвачен морозом. В сырые майские ночи они слушали у разлившихся прудов лягушек, уплывали на старой лодке под вербы и целовались. Спрятав лицо в ее светлых, пахнувших ландышем волосах, он замирал, спрашивая себя: так вот это оно и есть, то самое счастье?

Как ни трудно ему это было сделать из-за стеснительности, но однажды признался он, что любит. А она после некоторого молчания сказала, что ей скучно, если его рядом нет...

Все закончилось разом и совсем неожиданно. Как-то в один из майских вечеров он, по обыкновению, постучал в знакомые двери. Бабка Даша ответила, что постоялицы нет, уехала с Колькой Чуркиным на мотоцикле. Чуркин, молодой шофер из соседней бригады, первый парень на деревне, баянист и балагур, слыл местным донж уаном, ежемесячно менял подружек. Погуляет и бросит, следующая знала, что бросит и ее, но если Колька звал — летела к нему, как бабочка на огонь.

Новость так поразила Виктора, что он на мгновение остолбенел. Внутри, где-то под сердцем, стало жарко, жар собрался в одном месте, чуть ниже груди, превратился в острый, всепобеждающий комок боли. Спускаясь по лестнице, он опирался рукой на доски пола. Нащупал топор. Взял его, тупо посмотрел, вынес было на улицу, хотел спрятаться в дровянике и ждать, потом вернулся и задвинул топор на место.

Дома боль не отступила, ушла еще глубже и сделалась совсем нестерпимой. Он снял со стены ружье, машинально вставил патрон, разул правую ногу и стал прилаживать ствол к груди. В это время в дверь постучали, он пихнул ружье под коврик. Вошел квартирный хозяин, дед Иван, навеселе, с початой бутылкой водки и литровой банкой деревенского пива.

Они загуляли с дедом серьезно. Пили целую неделю, куролесили: ходили по деревне с песнями, разбили гармонию, разворотили в доме печь-временку. Потом он удивлялся своей способности пить столь долго. Каждый вечер он был пьян почти до потери сознания, а утром, когда приходил в себя, вновь хотел только одного — напиться так, чтобы ничего не помнить.

Его воспитывали на комсомольском собрании, директор совхоза объявил выговор. По деревне ходили толки да пересуды, хотя ни для кого не было секретом, отчего вдруг запил непьющий молодой инженер.

Со временем все улеглось, уладилось, жизнь пошла своим чередом. Катя работала на прежнем месте, а он старался обходить стороной медпункт. Вечером всегда оказывался

под хмельком — то дед составлял компанию, то новые друзья-приятели из местных механизаторов. Забродил он тогда не хуже Кольки Чуркина — знакомился с учительницами, поварихами, хударками клубов, расставался без особого сожаления, вновь знакомился...

Катя же вела себя так, как будто ничего не произошло, как будто так все и должно быть. Если им приходилось встречаться, она здоровалась первой и спрашивала о чем-нибудь несущественном. А месяца через два уехал а.

...Он смотрел на это, когда-то дорогое, лицо, слушал давно забытый голос и все больше понимал, что сидящая напротив него женщина совершенно ему не интересна, что нисколько не волнуют его вот этот чистый высокий лоб, этот завиток у виска, эта родинка — все, что бесконечно милым было для него когда-то, что казалось ему бесценным, вызывало умиление и восторг. «А я ведь всерьез хотел застрелиться... И застрелился бы, если бы не дед».

Как долго он тогда мучался! Все искал ей замену, что -то похожее... Почему? Зачем? Как там, у Визбора: «Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?» Вот и встретились...»

Они проговорили до станции, где должен был сойти Воронцов. Говорили много, как добрые старые друзья, между которыми было только хорошее. Виктор Александрович вышел, помахал шляпой с перрона, она тоже махала рукой и кричала что -то через стекло вагонного окна и улыбалась, улыбалась. Когда поезд ушел, он тоже растерянно и грустно улыбнулся, вдруг поняв: больше всего ему сейчас хочется, чтобы эта женщина раз и навсегда исчезла из его воспоминаний.

Он работал все в том же совхозе «Пригородный», теперь уже акционерном обществе, директором. Был трижды женат, и с последней женой, невысокого роста блондинкой, жил пока хорошо, в ладу и согласии.

НЕ ЖИВИТЕ, РОБЯТА, ДОЛГО!

У деревенского пруда два двадцатилетних парня, высоких, ладно кроенных, кровь с молоком, развешивают бредень. В ведерке желтыми лепехами вяло хлопают хвостами крупные караси. Парни весело гогочут, прыгая в трусах по теплой зеленой траве; к ним, шаркая подшитыми валенками, опираясь на клюку, подходит дед Кондрат, по-деревенски — Конка, сосед. Слезящимися бесцветными глазами, без интереса, долго смотрит на карасей, бредень, пруд, веселых парней.

Чернявый, с сигаретой в зубах, ловко и быстро втыкая колья, рассказывает товарищу о вчерашнем походе. У молодой учительницы отмечали день рождения, и он угодил в эту компанию, а сегодня вечером у него со Светланой Сергеевной свидание.

Старик не слышит, о чем говорят молодые, да и не интересуется ему, видимо, их разговор. Он думает о своем.

— А хороших вы лаптей, робята, наемали, — наконец, слабым голосом говорит он, стукнув палкой о ведро. — Народились ишь какие поросята... По те годы все шефы совхозные выгребали, а в прошлом их не было, вот карась и нагулял брюхо.

— Бери, дядя Кондрат, пару, какие нравятся, уху баушке сварить, — кричит чернявый, залезая рукой в ведро и переваливая там карасей.

— До войны здесь и линек водился. Вот скусная, паре, рыба! Жирная, без костей, — не обращая внимания на ведро, продолжает Конка. — Бывало, протащим с мужиками бредешок на Иванов день, славная тебе закуска...

— А что, и до войны этот пруд был? — из деликатности интересуется приятель чернявого, рыжеголовый.

— Был, его опчеством выкопали еще до моего рождения, в девятьсот первом.

— Эт сколько же годов тебе, дед?!

— Да девяносто пятый свет маю, — Конка кряхтя наклоняется и берет себе карася, размером со стариновскую ладонь.

— Молодец, дед, много повидал, много попробовал, — смеется рыжий.

— Много, — соглашается Конка. — Так много, что и сверх нормы. — Старик цепляет карася пальцами за жабры. — Хорош, на ушицу самый раз.

— Бери, дед, еще!

— Не, хватит, спасибо.

Конка уже поворачивает к своему дому, но останавливается, манит пальцем парней. Те подходят.

— Не завидуйте мне. Годам не завидуйте. Не живите, ребята, долго. Ой, мало в том сласти, — и старик шаркает к дому, где вот уже пятый год мается на пропахшей мочой кровати постоянно кричащая и никого не узнающая девяностолетняя сумасшедшая старуха, его жена.

ЗАПАХ КОЖИ

Дорогой современный ресторан, с дорогими зеркалами в простенках, современной музыкой и длинноногими официантками в коротких юбках.

Двое «новых русских» пьют дорогой, под сто баксов бутылка, коньяк. У молодого — бритый, широкий затылок, сам он — плотен и высок, такие работают охранниками в приличных гостиницах. Второму лет под пятьдесят, коренаст, полноват, с обозначившимся под модным пиджаком животом. По разговору видно, что ни образования хорошего, ни культуры — ни у того, ни у другого. Как и положено, больше говорит старший:

— Понимаешь, Витек. Что-то перестал я радость от жизни получать... Дела вроде бы кручу неплохо, «зелени» хватает. А радости... ее -то как раз и маловато!

Он опрокидывает в себя рюмку коньяка и продолжает:

— Вот, помню. Пошел я в первый класс из деревни в поселковую школу. Отец отдал мне новую полевую сумку... Знаешь, были такие, как из голенища от кирзового сапога. Не нравилось. Стеснялся я. У всех в классе — портфели, а у меня — полевая сумка. А потом батя привез из Ленинграда настоящий кожаный портфель. Кожаный! Понимаешь! Для деревни по тем временам — круто! Так вот, радости было — сверх головы. Даже ночью подходил к нему, нюхал кожу, щелкал никелированными замками. И сейчас помню, как пахла та, настоящая, кожа. Да... Недавно вот отхватил себе «джипяру» за полтора лимона. Конечно, приятно, не скрою: все-таки не последний чалдон в России. Приятно — но не больше. А радости... той вот детской, настоящей — нет... Запах кожи... Это — не передать! — он закрывает глаза, а когда открывает, в них блестит что-то, похожее на слезы. — Запах настоящей кожи, не дермантина поганого — кожи! До сих пор помню... Что дорого-то, радость была — настоящая!

Молодой молча жует, вылавливая что-то из глиняного горшочка, почтительно слушает, кивает. Из него неожиданно выкатывается зевок. Спohватившись, он прикрывает рот рукой с распухшими костяшками. На одном из пальцев блестит массивная золотая печатка. Чтобы показать, что ему интересно, он кивает несколько раз подряд.

ТОТИНЫ ШАШНИ

На деревенском празднике подвыпившие мужики под предлогом покурить вызвали на улицу хозяина дома, Анатолия Галкина, или, как его звали свои, — Тотю. Мужики были все родственники — и ближние и дальние — да и чуть постарше Тоти, поэтому приступили к делу сразу, без всяких подходов издалека. Сано Галкин, дядя, старше племянника на пять лет, врезал сразу:

— Ты, Толька, хватит нас и бабу позорить! Связался, ебия мать, со старухой!

Тотя, мужик гулливый, охочий до баб, в последнее время часто бегал в соседнюю деревню к солдатской вдове Лиде Королевой — Королихе, пьяненький как-то остался там на ночь; такое деревня узнает уже на другой день.

— Ты посмотри, Натолый, баба извелась, совсем как доходная корова, кожа да кости. Из-за твоих шашней на себя не похожа. Али приятно ей, ежели мужик молодую на старую променял? А? — спрашивает Федя, троюродный брат и закадычный приятель.

Тотя слушает, молчит, курит. В соседнем доме играет гармонь и женские голоса стройно тянут «Подмосковные вечера». Хорошо на душе от выпитого, от летнего тепла, от красивой, за душу берущей песни, а тут мужики со своими нотациями... не ко времени, право!

— Марья одна у нас осталась. Нету боле женщин Грушиных... Баба добрая, хорошая, работающая, — бубнит за спиной Тотя дальний родственник со стороны жены, Коля Грушин. — Таковую бабу на руках носят, не то что вниманием обходят...

— Я не обхожу, — слабо защищается «подсудимый».

— Не обхожу! На кой хрен тогда к Лидке бегаешь?

— Ну, что в ней, в этой Королихе, такого сладкого?! — опять вступает в разговор дядя Сано. — Ты посмотри — не баская вовсе, маленькая, рыжая, как таракан, за сорок ей уже. А Марье твоей тридцать пять, девкой еще выглядит, несмотря, что детей тебе кучу, кобелю, нарожала! Дурак ты, ей-богу! Дурак и позорник! Фамилию Галкиных славишь!

Тоте скучно, воспитание надоело. Хотя и ничего необычного в этом нет, его так воспитывают частенько, после каждого загула. А как не загулять? Баб -то одиноких вон сколько после войны осталось! Не только баб, но и девок перезрелых. И всем ласка да внимание требуется. А таких, как он, жалостливых да внимательных, и немного вовсе, на всю округу двое: он да еще Олег Мишин из соседнего села.

Мужики, настроенные на очередную воспитательную беседу не столько желанием уберечь честь фамилии, сколько своими женами, желая окончить разговор и поскорее вернуться за стол, к самогону и браге-медовухе, вдруг галдят наперебой:

— Ты кончай это дело!

— Пойми, дурень, тут... фамилию ведь полощут на чем свет стоит!

— Ну, и что в ней? Чего такого особенного? Старуха же? — все пытается племянника дядя Сано.

Тотя вдруг морщит свое смазливое лицо, собирает складки на губах, вот -вот заревет.

— Мужики! — говорит он почти со слезой в голосе. — Мужики! Не поверите! Нет! Где вам!.. У ей она же шанюшкой!

— Кто она? — не понимает сперва дядя Сано.

— Да она! — Тотя рисует в воздухе руками выразительную фигуру.

— Тьфу! — плюется дядя Сано.

Мужики хохочут и гурьбой, подпихивая друг друга под бока, поднимаются на крыльцо, входят в избу. Праздник продолжается.

НЕ ЗАМЕТИЛ

Ближе к ночи в коридоре затопало, загремело, и через минуту в проеме кухонной двери нарисовался добрый молодец, пятидесятилетний мужик-здоровяк, под метр девяносто ростом.

— Так и знал, что моя тут, — громко сказал он, сразу заполнив собой кухонное пространство.

Хозяин засуетился, подставил к столу четвертый стул, вылил в стакан остаток водки.

— Ну-ко, Алексеич, за наступающее Рождество!

— Не, хана. В завязке я, — так же громко и бодро ответил Алексеич голосом трезвым и решительным. — Я-то вот что зашел! Валь, дай-ко мне рублей двадцать.

Прогуляюсь я до церкви. Да. Свечку по батьке поставлю. Да. Давно в церкви не был, бляха. Дай, хоть помяну отца-то.

— Садись, успеешь в церковь, — пригласил хозяин, внутренне удивляясь: еще вчера вечером Алексеич «гудел».

— Не, пойду. Надо дань памяти отдать. Валь, давай!

Жена Валя, до этого мирно беседовавшая с хозяином и его супругой, достала из кармана кофты кошелек и отсчитала мужу два червонца.

— Пойду. Бляха, давно отца не поминал. Он у меня на фронте погиб, в сорок втором. И не помню совсем. А свечку поставить надо, — твердил Алексеич. Глаза его при этом были как-то трогательно чисты и светлы. Казалось: человек вдруг набрел в темноте непутевой жизни на неожиданную истину и теперь ее никому ни за что не отдаст.

Он ушел так же неожиданно и шумно, как и появился. И еще добрый час после его ухода жена Валентина все удивлялась: «Надо же! И от рюмки отказался, и службу рождественскую решил постоять! Что это с ним?»

А в час ночи она уже бежала по утопанной тропке от своего дома к большой дороге. За ней с поднятой над головой штакетиной, как былинный богатырь с мечом, летел Алексеич. Минут за десять до того он вернулся из бара, где просадил и женину двадцатку, и занятую сороковку.

Потом, через неделю, уже трезвый, он рассказывал: «И не заметил, бляха, как ноги мимо церкви прямой наводкой к ночному бару пронесли. Понимаешь, даже и не заметил, бляха!»

ЭДИК И САША

Начало семидесятых годов прошлого века. Студенческое общежитие, 79 -я комната 2-го этажа на Щемиловке. В комнате двое. Эдик лежит на кровати, одетый, поверх одеяла; на тонком носу — очки, он читает Ремарка, роман «Триумфальная арка». За его головой, на тумбочке, бутылка портвейна, стакан, на листе бумаги — кусок хлеба и тонкими ломтиками нарезанная ветчина. Через каждые пятнадцать -двадцать минут Эдик наливает полстакана вина, медленно выпивает, съедает ломтик ветчины, поправляет пальцами очки и, шумно втянув воздух, устраивается в прежней позе, продолжает чтение. Таким способом он убивает свободное время, когда у него есть деньги или возможность их перехватить.

Спиной к нему за столом сидит его однокурсник, студент Саша. Он только что пришел из библиотеки, но не позволяет себе расслабиться и в девять часов вечера: пишет конспект по методике русского языка, старательно что-то подчеркивает в тетради цветными пастами.

Студенты долго молчат, каждый занят своим делом. Наконец, Эдику надоедает Ремарк. Философское расположение духа тянет его поговорить.

— Сашка! Брось ты эту галиматью переписывать. Дерни лучше, — говорит Эдик, выливая остатки портвейна в стакан.

— Не хочу, — не поворачиваясь, отвечает конспектирующий.

— Вот чудак! Не нужна твоя писанина никому, кроме Козочки (прозвище преподавателя). Да и ей до фени, лишь бы галочку поставить, что студенты работают, — аргументирует матерый троечник Эдик.

Твердый отличник Саша молчит, ему досадно, что сосед отрывает его от работы, от нужного и важного дела.

— Как хошь, — говорит Эдик, допивает стакан, встает и одевается. — Дай пару рваных, еще портвяшки в кафе возьму, там дороже.

— На пропой? Нет у меня, — отвечает Саша и продолжает старательно переписывать что-то из книги в тетрадь.

— Дай, не жмоть! В конце недели верну, мне из дому пришлют. А у тебя, я знаю, есть, ты ж на книги пасешь, в «рядах» в понедельник всегда новинки продают.

Саша молча достает из кошелька два рубля и отдает их Эдику. Тот закуривает сигарету, садится на кровать, уходить не спешит. Сидит молча, курит, потом говорит:

— Слушай! А мы с тобой оба алкаши! (при этих словах Саша презрительно улыбается). Я вот на вине деньги просаживаю, а ты — на книгах. Хреновина-то одна, а, Сань? Оба голову туманим, ты чтением, я алкоголем. Забылись, деньги спустили, и в итоге что? Ни денег, ни времени, ни... — он не договорил. Затягиваясь сигаретой, взял сетку и вышел.

Прошло много-много лет. Прошла жизнь. Где-то на одном из многочисленных кладбищ огромного Подмосковья давно уже лежит бывший студент Эдик. А бывший студент Саша вечерами все так же сидит за столом в своем деревенском доме, проверяет ненавистные ученические тетради, с раздражением, но аккуратно выделяя красной пастой многочисленные, из года в год повторяющиеся ошибки. Когда эта работа доводит его до одури, он встает, наливает стакан красного вина, глядит на полки с книгами и медленно выпивает.

О ПОЭЗИИ

Как-то раз он встретил меня на улице. Стоял октябрь, было холодно и шел дождь, нудный, сеющий.

Когда я поравнялся с ним, он вынул из кармана коричневого плаща руку, дотронулся до козырька кепки и сказал:

— Можно... на минуту.

Я поздоровался и остановился.

— В среду заходил в редакцию, — начал он нетрезвым голосом, — там сказали, что какой-то (он назвал мою фамилию) мои стихи зарезал. Я приношу, понимаешь, в редакцию, а кто-то со стороны решает, печатать их или нет.

Я пояснил, что меня иногда просят посмотреть те или иные стихи местных авторов и оценить их литературное достоинство.

— Вот и оценивай, а мои не надо. Их давно оценили. Еще в сорок пятом в Восточной Пруссии генерал Емельянов за «Сестричку» трофейный нож подарил. Говорит, ничего лучше о медсестрах не читал. Газеты Первого Белорусского мои стихи печатал и. А через пятьдесят лет они, видишь ли, кому-то не нравятся...

Я давно был знаком с ним, но скорее заочно. Встречались на улице, здоровались, никогда не разговаривали. Но все написанное им (несколько толстых общих тетрадей) пришлось прочитать. Тематика стихов оказалась единственной — военной: о боях, атаках, друге-автомате, фронтовом братстве, о многом другом, но связанном исключительно с войной. В них присутствовала правда и ложный пафос, реальные сцены и романтические образы. В том не было ничего удивительного: автор тогда едва перешагнул двадцатилетний рубеж своей жизни. Но в них, в этих стихотворениях, не было главной ценности стиха — того, что принято называть поэзией, того, что отличает настоящее стихотворение от рифмованной прозы.

— Помнишь вот эти строчки, — продолжал он.

И говорила мне сестра:
«Ты дотяни лишь до утра.
А там найдет браток-солдат
И отнесет тебя в санбат.
И улыбнешься, будешь рад
Увидеть вновь цветущий сад...

Слушая глуховатый, слабый голос собеседника, читающего свои стихи пятидесятилетней давности, по сути, юношеские стихи, стоя под осенним дождем на сыром асфальте неуютной поселковой улицы, я понимал всю нелепость ситуации, и мне стало жаль старика.

— Газета много ваших стихов опубликовала. Действительно, хор оших стихов. Но не все такие. Некоторые надо поправлять... И у больших поэтов не все удается. У Есенина, например, много слабых стихов...

— Сопляки вы, зелень, что вы видели?! — не слушая, с явной обидой говорил он, отрешенно, куда-то мимо меня глядя из-под потемневшей сырой кепки. — Это же все выстрадано! Через это пройдено! Это вам не финтифлюшки красивые. Это вот тут! — он провел себе кулаком по груди. — Тут вот все, — в его голос просилась слеза. — А что поправлять? Разве жизнь поправишь?.. Ну ладно, извините, задержал, дождь ведь идет...

Он запихнул руки в промокший плащ и, покачиваясь, пошел в сырые, мутные сумерки.

Дождь разошелся вовсю и назойливо колотил в спину.

Еще одному человеку сделал нехорошо... невольно, как бы случайно. «Будто нехотя кого обидел вдруг», — вспомнились мне строчки из Твардовского.

«Но стихи-то на самом деле неважные! — убеждал я себя. — И не моя вина в том, что они плохие... Хотя... Человеку — семьдесят. Единственная радость, может, и осталась: выпить, да увидеть отпечатанное в типографии свое, личное, с собственной фамилией, плохое оно или хорошее... Надо бы посмотреть еще раз и что-то попробовать поправить...»

К стихам я больше не возвращался: не было времени. А он через месяц умер во время очередного пьяного застолья.

Чужих рукописей, особенно стихов, я теперь стараюсь, по возможности, не читать.

ПЕСНЯ

Он сидел в дальнем углу зала ожидания в расстегнутой, выдавшей вида, покроя пятидесятых годов, «москвичке», в надвинутой на глаза солдатской шапке и, изредка шаркая огромными валенками, тянул что-то нечленораздельное, что-то напоминающее киргизскую степную песню или стон больного человека. Иногда затихал и начинал бормотать себе под нос скороговоркой, потом чмокал и вновь тянул заунывное и непонятное. Около него суетился некто столь же выразительного вида, малый неопределенных лет, уговаривал:

— Кончай, Леха, баландить! Менты, сучары, крутятся! Хошь, стакан принесу?

— Не... пива лучше. Пива хочу! — ясно выговорил старик и опять запел-застонал.

Малый убежал куда-то и вскоре принес полстакана — водки, а может, и воды.

— На, Лех, выпей.

Леха никак не отреагировал на предложение и продолжал выдавливать из себя что-то вроде «э-э-э, коли, да, о-о-о, эх, ты, да, э!». Малый, понимая, что его приятель очень некстати привлекает всеобщее внимание, быстро исчез — и вовремя: через минуту над поющим склонились два молодых стража порядка. Один из них дубинкой подцепил и приподнял шапку, всматриваясь в лицо пьяного. Видимо, узнал, потому что громко ответил напарнику:

— Да куда его...? Возиться всю ночь? На хрен он з...ся! У него туберкулез в открытой форме!

Милиционеры ушли, а старик еще долго пытался спеть нечто свое, для него, наверное, не бессмысленное, очень важное и нужное, что выталкивала из глубин тела затерянная где-то там слабая и плачущая человеческая душа.

Пение-вздохи становились все реже и реже, постепенно затухали.

ФРОЛОВ ДЕНЬ НА РОДИНЕ

Так потянуло на родину, так захотелось побывать в тех местах, где родился и провел детские и отроческие годы, что покой потерял. Такая тоска ин огда накатывала ночами — и сон не шел. И вот, несмотря на занятость и неблизкую дорогу, решил я ехать, чтобы взглянуть на пустые родные поля, посидеть на высоком берегу Неи, посмотреть на ее холодные воды, побродить по поредевшему и тихому лесу ближней око лица.

Первое место, куда я должен обязательно зайти и сделать все, что положено — кладбище. В родовой фамильной ограде — дед и бабка, дядья и тетки, умершие в раннем детстве и потому без могильных холмиков; только Иван да Василий — те с деревянными крестами, ибо умерли в таком возрасте, когда о живших хорошо помнят (одному было шестнадцать, другому — восемнадцать лет). С краю — могилка моей старшей сестры. А наискосок, за соснами и елями, лежат дедушка и бабушка по материнской линии.

Старым ведром убираю мусор за пределы ограды — сколько его накопилось за последние пять лет! Потом крашу памятники и штакетник, а дальний мой родственник, о каких нередко говорят: роднее родного! — дядя Семен, сидит рядом на бугорке, курит и рассказывает, что произошло здесь за последние годы, кто отошел в мир иной и каким образом.

День солнечный, ядреный, теплый, и воспоминания — теплые, добрые; под пересвист кладбищенских птах работается споро, весело.

Потом мы садимся за столик внутри ограды, пьем водку, поминая родственника в знакомых. Дядя Сеня рассказывает о моем деде Василии, о том, как тот, похоронив бабуку, пытался жениться вторично, как ходил по деревням свататься к старухам. И нашел, было, одну, тихую и богомольную, да отговорили его соседи. Так и прожил бирюком в опустевшем и запущенном доме еще около десятка лет. «А надо было ему жениться, — заканчивает рассказ дядя. — Глупые мы были, молодые, чужого горя не понимали. «Да ты, мол, что, Васьюк, удумал: чужую старуху в свой дом приведешь! У тебя свои дети, у нее — свои!» Это к старости понимаешь, как хреново одиночество».

Мы допили бутылку, нам хорошо, еще сидим, болтаем обо всем, что придет в голову, уже не о грустном, не о прошлом. И какая благодать, какое смирение, покой на душе! Вот когда глубоко постигается вечное, вот где особо чувствуется миг жизни, ее скоротечность. «Мы здесь, а внизу — прах, — философствует дядя Сеня, пока мы бредем от могилы к могиле, навещая знакомых. — Чудно, ей-богу! Сколько людей земля сокрыла. И они ведь тоже ходили здесь и думали что-то. А счас — там! И мы бродим — а потом туда, к ним, навсегда. И которые молодые, те тоже состарятся и к нам, на тот свет, только нас никто уже и помнить не будет. Чудно, право!»

Нагулявшись по кладбищу, идем по почти заросшей травой дороге в деревню (она рядом, в полукилометре). Деревни как таковой и нет уже, потому что десять домов, в том числе и мой родной, заколочены, а два и вовсе без окон — смотрят пустыми глазницами в поле, где бурьян и лебеда. Крыши сараев сгнили и провалились. Лишь Семенов дом — пятистенок ядрен и ухожен; его крашеная крепкая ограда соседствует с самой дорогой, над ней нависла мощными ветвями старая яблоня.

Сегодня Фролов день — когда-то в нашей округе был престольный праздник Фролы. Потому мы и продолжаем застолье, в прямом смысле слова — бражничаем. Водки хозяин не держит, зато браги-медовухи у него — целая фляга.

Сходил я на реку (минут десять ходьбы от деревни), мечту свою осуществил: посидел на крутояре, полюбовался тихой, спокойной, просветленной гладью омота. Хотел навестить места былой рыбалки, да не смог: то берега прежнего не оказалось, подмыло, и он давно рухнул в воду, то густо ивняком затянуло старые прогалины меж кустами.

К вечеру погода изменилась. Вдруг загулял ветер, потом глухо и сердито заурчало за лесом, и оттуда медленно выползла пепельно-серая клочкастая туча; потемнело,

полоснула молния, и прошла короткая, последняя, наверное, в этом году гроза, со скорым и теплым дождем.

Быстро смеркалось, и тысячи кузнечиков вразнобой, громко застригли траву, а потом плотная сентябрьская ночь накрыла и лес, и поле, и деревню. И кузнечики постепенно стихли, и тишина опрокинула мир.

Мы ужинаем и опять взбадриваем себя медовухой. Дядя Сеня, уже порядком захмелевший, рассказывает:

— Это счас асфальт у нас проложен за опушкой, через болото. А раньше, окромя этой дороги, — он кивает в сторону занавешенного окна, — других путей и не было. Все по ей — и пешие, и конные. И на войну по ей уходил, и с войны по ей пришел. И покойников по ей на кладбище возили. Почитай, за мою бытность мимо дома не одну сотню провезли и пронесли. Всяких провозили и проносили. Всяконыхких... Сколько мужиков стоящих отправилось этим путем! Поначалу оторопь брала, в детстве — почти каждый день процессия. Кладбище -то на десяток деревень, а дорога — одна... Привык, конечно. Только одно неудобно. Работаешь, положим, в огороде, а тут несут гроб, а в ем — человек хорошо знакомый. Дело бросишь, значит, и проводишь до могилы. Ну, и к этому привык...

Жена Семена, Екатерина, подкладывает на общую тарелку мелких, плотных, пахучих рыжиков, пытается перевести разговор на другую тему:

— Ты, Ичислав, ешь, не слушай его. Он кого хошь заговорит... Ты бы лучше, старый, рассказал ему, как Оленькина Зойка в прошлом году приезжала на кладбище на машине. С новым-то хахалем.

— Ну ее к хренам, Оленькину Зойку! — отмахивается в сердцах дядя. — Она всякий раз нового е... привозит, будто матери в могиле хотит доказать, какая она уж баская и как мужики ее любят. Тфу! Ольга -то ее все стоеросиной да чучмечкой величала...

— Да ты расскажи, какое она коленце выкинула, — настаивает тетя Катя.

Я слушаю перебранку стариков, все больше хмелея не столько от браги, сколько от особой, почти, было, забытой мною деревенской атмосферы, от запахов старого деревянного дома, прохладной тишины вокруг него. И вдруг вспо минаю, что дядя Сеня — гармонист и что сегодня — наш деревенский праздник.

— Гармонь-то жива? — мне и самому хочется сыграть, но больше, все -таки — послушать настоящего мастера.

— Гармонь-то?! — живо откликается дядя. — А как же! Разе я ее кому отдам! Тут как-то Верка, внучка, приезжала, просила, она у их в музыкальном учится. Не отдал! Помру — тогда забирайте.

Хозяйка приносит хромку. Облицована она разноцветными перламутровыми пластинками, мехи — в голубых васильках. Бережно беру гармонь, трогаю лады — голоса звучные, сочные, живые. Нажимаю басы и пытаюсь сыграть «цыганочку».

— О! — притворно удивляется дядя Сеня. — И когда успел выучиться-то? Чисто композитор!

Я изображаю еще две-три несложные мелодии. Тетка Катя даже подхватывает «Коробочку», несмотря на старость, высоким, красивым голосом.

— Э, нет! — говорю я. — Нечего такой музыкой хорошую песню пор -тить. — И передаю гармонь хозяину.

Тот прилаживает ремень на раненое правое плечо, мотнув головой, откидывает со лба седые слипшиеся волосы и поет старинную «Ланцов задумал убежать». Гармонь в его руках словно живая, тоскует, плачет. Выговаривает мелодию чисто, ясно, без сбоев и заиканий. Потом он вдруг замолкает, и в следующую секунду разухабистая «Семеновна» вылетает из открытого окна одинокого дома. Ека терина, поймав такт, громко выговаривает, выкрикивает в густую темноту ночи:

Эх Семен, Семен,
Да милый Сенечка,

Да поцелуй меня,
Да хорошенечко!

Голосиста гармонь, льются частушки, красиво, виртуозно играет хозяин. И красиво, с душой, с самозабвением поет старая хозяйка. Но слушают это только я, беззвездная глухая ночь да безмолвное кладбище.

— Эх, ештвой сломать! — кричит хозяин, вскакивает со стула и, шаркая старыми тапками по крашеному полу без половиков, пытается плясать «русского». — Поддержи компанию, Славка! Праздник же сегодня! Фро -лы-ы! Эх, брат, пропали, брат, пропали наши головы с тобой!..

Мы с теткой Катей топаем босыми ногами по широким половицам, по очереди выкрикиваем частушки, пытаюсь попасть в мелодию...

Когда все заканчивается, я долго лежу без сна на высокой старинной кровати с тремя большими подушками, в мягкой перине, слушаю, как стучат за стенкой огромные древние часы, как долго шипят и бьют сперва полночь, потом час ночи, отбрасывая время в прошлое. Барабанят дождевые капли по стеклу. Изредка непроглядную тьму разрывают далекие всполохи зарниц, и через окно в этот момент видны край серого неба, черная зубчатая кромка дальнего леса и дорога — едва приметная, пропадающая в поле.

Как хорошо здесь, на родине, как я по-детски счастлив, беспечен и беззаботен! Я так рад тому, что, несмотря на все трудности, смог приехать сюда, мне так хорошо, что хочется от счастья заплакать. И еще не знаю я, что в этом доме гошу в последний раз, что 9 мая следующего года по дороге на кладбище, куда он отправится при полном параде, в новом пиджаке и начищенных хромовых сапогах, скоростно скончается дядя Семен. Сядет у старого амбара на бревно, да так и найдут его сидящим, с опущенной на грудь головой. А еще через девять дней от горя и тоски на этой самой кровати, где я лежу сейчас счастливый, довольный жизнью, судьбой, миром, помрет тетка Катя.

Но мне не дано знать этого. Я беспечно, по-детски счастлив. Потому, что я — на родине, потому, что она — во мне, а я — в ней.

ИВАН ДА МАРЬЯ

Теплый вечер конца июля. Уже легкий туман, но еще чуть заметный, отдельными клочками собирается над песчаными отмелями, над лопухами речных заливов, над желтеющей осокой старицы. Тишина такая, что вверху, на косогоре, в деревне, слышен одинокий скрип колодезного «журавля», редкий звон колокольца пасущейся на гумне коровы, частые удары щук и головлей на мелководе, в километре от кустов, где стоят мои удочки. Поплавки, уснув на воде, мертвы, неподвижны. Кажется, и река не движется, замерла после жаркого дня, и все кругом замерло и окунулось в сонную дрему, лишь верхушки ивняка на том берегу еще играют с полуденными лучами засыпающего солнца. И вот эту тихую идиллию вдруг разрушают голоса, звенит цепь и слышится плеск весла.

Из-за кустарника залива показывается лодка-долбленка, мужчина гребет одним веслом, сидя на корме, женщина полулежит на скамье, опустив правую руку в воду. Лодка поворачивает к песчаному откосу. И сено косники (кто еще так поздно может возвращаться из леса?), втащив лодку на песок, не спеша раздеваются. Он, в белых кальсонах, медленно входит в воду, долго идет, забираясь все глубже и глубже, потом громко ухает и плывет. Она, в нижней белой рубахе, заходит по пояс и, вскрикнув, приседает раз, другой, поднимая руками брызги, плещет себе в лицо и вновь опускается по шею в вечернюю прохладу воды. Он с середины реки, вынырнув, сверкнув белым, кричит вдруг громко, радостно, во всю силу легких: «Эх, матка, хорошо -о-о!». Она живо, с той же радостью в голосе, с тем же чувством полноты бытия, так же громко отвечает: «Хорошо, батько! Как хорошо -о-то!».

Мне и сейчас кажется, что я тогда вздрогнул. Вздрогнул не от неожиданно громких криков в первобытной тишине летнего вечера, не от яркой сцены вечернего купания

возвращающихся с сенокоса, уставших мужика и ба бы, нет, ничего необычного для меня не было в этой картине. Но что-то невыразимое, непередаваемое было в их голосе, в этом ликующем крике: «Эх, хорошо-о-о!» — какое-то торжество жизни, любовь к ней, какая-то неизбывная и вечная сила ее...

По голосам купающихся я узнал Ивана и Марию Смирновых. Они возвращались с дальней лесной делянки, где, наверное, поставили стожок (два дня после обильного дождя стояла солнечная, жаркая погода), устали, конечно, но были рады, что сено прибрано и что теперь можно омыть разгоряченные, потные тела свежей речной водой.

Что в этом, действительно, было необычного? Почему эпизод этот мне запомнился и доселе часто тревожит память?

Дома я тогда рассказал о вечерних купальщиках. Все беззлобно посмеялись, вспомнили, что Иван в войну был «дезентиром», скрывался в лесу, Маша носила ему кой-какие припасы, а он снабжал свою многочисленную семью лесным мясом. В наших лесах тогда в изобилии водились и лоси, и медведи, и глухари, и тетерева. На мой вопрос, почему не арестовали предателя, дед кратко ответил: «И районное начальство хотело мяса».

Уже много лет, как нашли вечный приют на селезеневском косогоре старики Смирновы. Лежат рядышком под облупившимися железными крестами-пирамидками, а мне часто видится легкий, только что зарождающийся туман, белые фигуры на желтом песке отмели, слышится шум воды в вечерней тишине и — переполненный радостью земного существования, мгновенным и огромным человеческим счастьем, торжествующий крик над засыпающей рекой: «Эх-х, как хорошо-о-то!»

ПОЭЗИЯ



Владимир Критский

Я живу в зубах у волка

* * *

В колокол бухают братцы
(Два долгополых монаха).
Бухают, рады стараться
Ради души, а не страха.

Им с высоты колокольни
Мир окружающий виден.
Дух там — веселый и вольный.
Жребий их светлый — завиден!

Галки срываются с криком.
Воздух дрожит от удара.
Вот и в плену мы великом
Их музыкального дара!

Головы вверх мы задрали
И растопырили уши.
Ближе к религии стали
Наши простецкие души.

Бухайте, бухайте, братцы,
С дьяволом в яростной битве!
Будем и мы тут стараться,
Пусть в неумелой молитве.

Владимир Гаврилович Критский родился в 1943 году в деревне Горбатовке Горьковской области, в пятилетнем возрасте вместе с родителями переехал в г. Шую Ивановской области. В 1962 г. окончил Палехское художественное училище. После службы в армии работал в Шуе художником - оформителем, маляром, резчиком металла, кочегаром, землекопом, помощником мастера на текстильной фабрике, оператором на нефтебазе. В свободное время занимался живописью.

Сочинять стихи начал в армии, но лишь с 1996 года литературное творчество становится его постоянным занятием. В 2005 году вышла в свет первая книга В.Критского «Листья лопуха».

Живет в Шуе.

МАДРИГАЛ

Знойным полднем, утром ранним,
Чтобы жизнь была легка,
Ограничься созерцаньем
Милых дев издалика.

Расцветает, сердцем тает,
Обожая их, любя,
С упоением ощущает
Небожителем себя.

Но не надо, брат, не надо
К девам ближе подходить.
Ведь из рая в бездну ада
Можно быстро угодить.

Мигом, сладостным мгновеньем
Пролетает этот час...
Рук и губ прикосновеньем
Все разрушено тотчас!

* * *

С Осиновой горой
Мой путь навеки связан.
Счастливейшей порой
Я в жизни ей обязан.

А вот Верушкин дом
За яблоневым садом.
За этим вот окном
Мы с ней сидели рядом.

Как много было в ней,
Что нас влекло, сближая!
По глупости моей
Она теперь чужая.

Бесцельный минул год...
Темна ее лачуга.
Тут батя с ней живет,
Похабник и пьянчуга.

Не он ли у крыльца?
Восторг на пьяной роже.
Черты ее лица
Он мне напомнил все же.

Я несколько минут
Болтаю со скотиной.
Так жаждущие пьют
Питье с болотной тиной.

* * *

Не было доли
Мне на роду.
Мучусь в неволе
Здесь, в городе,
Где петухи
День не встречают...
Только стихи
И выручают!

ПОКИДАЯ КОТЕЛЬНУЮ

Ну, мокрицы, торжествуйте!
С нынешнего дня
Без меня здесь существуют,
Я вам не родня.
 Уж не буду, громко плюя,
 Бить по головам,
 Без сраженья уступлю я
 Поле боя вам.
 Ждет меня мой город Шуя...
Ну, да Бог и с ним!
К новым тварям ухожу я —
Полевым, лесным.
 Над полем веселой майкой
 Там гудят шмели.
 Пескари ленивой стайкой
 Млеют на мели.
Ходит луга изумрудом
Белая коза.
Изумрудная над лугом
Пляшет стрекоза.
 Много песен будет спето!
 На коврах травы
 Пропляшу все красно лето
 Я без головы!
Пропляшу — и не раскаюсь...
Но ни от сумы,
Ни от вас не зарекаюсь,
Порожденья тьмы!
 Как дохнет октябрь сурово
 На стрекоз, на ос,
 Как бы свидеться мне снова
 С вами не приш лось!
Лета жаркому огарку —
Кануть в никуда.
Снова в ту же кочегарку
Приведет нужда.
 Снова буду, громко плюя,
 Бить по головам.
 Что ж! Ведь эту жизнь терплю я.
 Знать, терпеть и вам.

* * *

Живописная грязь на дорогах,
Солнце вешнее — в зеркале луж.
Пробудились медведи в берлогах,
Просыпается зимняя глушь.

В пику утренним крепким морозам,
Уж о лете мечты у коров.
Прелым сеном, пахучим навозом
Завоняло у скотных дворов.

Собираются в стаи собаки,
Снятся кошкам амурные сны.
Это — первые, тонкие знаки
Долгожданной, желанной весны.

КОНЕЦ ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ

У всех людей апрель есть —
Паши, работай, сей!
По мне ж, святая прелесть
Мгновенной жизни сей —
 Лесной тропинкой виться,
 Не зная ввек ярма,
 Искать, где поживиться,
 Как птичке, задарма.

Особенно приятно,
Когда вдруг в чью-то честь
Случается бесплатно
Как следует поесть.
 Люблю я сытых, винных,
 Незлюбивых мужчин,
 Виновник ов невинных
 Веселых именин,

Люблю, когда их тещи,
Разрезав на куски,
Кладут большие во щи
Говядины куски.
 На день рожденья, на день
 Забоя поросят,
 Глядишь, опять то к Наде,
 То к Феде пригласят.

Вино застолья, брызни!
Как сыр, катятся дни
Таких, как я, в чьей жизни
Приятности одни!
 Но не сочту бедою,
 Мой свет все так же бел,
 Когда между едою
 Случается пробел.

Какая легкость в теле,
Снаружи и внутри,
Когда за две недели
Поем я раза три!
 В обилии спонтанном,
 Ликуя и звеня,
 В такие дни фонтаном
 Струятся из меня
Стихи, поэмы, думы
О жизни, о весне...
И даже денег суммы
Являются во сне!
 С деньгами было сложно,
 Копейки, то да се.
 Но, где бесплатно можно,
 Я взять старался все:
Крутя на патефоне,
С бесплатного кружка
Я целых сто симфоний
Прослушал у дружка.
 Для смеху, на потеху —
 И Марксов «Капитал»,
 И всю библиотеку
 Бесплатно прочитал.
В больничной же постели
(Всего -то грипп — не тиф!)
Я целых две недели
Лежал, не заплатив.
 Всегда бесплатны были,
 Причем, наверняка —
 Дорога с гребнем пыли,
 Пруд, озеро, река.
С бесплатными грибами
Шумел бесплатный лес,
В ночи сиял звездами
Бесплатный свод небес.
 Но все в Москве решают...
 И вот, права поправ,
 Меня моих лишают
 Законных птичьих прав.
Что делать? Делать что мне?
Ведь с детства, е-мое,
И накрепко я помню,
Что все вокруг — ничье!
 Нет силы Бога славить
 И белый свет не мил:
 Хотят меня заставить,
 Чтоб я за все платил!
Но я же — бедный малый!
С меня последний грош
Изломанный — пожалуй,
А больше не возьмешь.

* * *

Не противься судьбе, покорись,
Все прими, все, что видишь в окне.
На минутку присядь, пока рис
Допревает на малом огне.

Вспоминай старика Лаоцзы,
На прохладу смени теплоту.
Слушай тихие песни Лозы
И готовься уплыть на плоту.

Проборматывай вирши Басе
Не спеша, пока варится рис.
Все прими, без изъятия все.
Не бунтуй, человеке, смиришь.

Посиди без забот, пока рис,
Допревая, ворчит на огне.
Не противься судьбе, покорись,
Все прими, все, что видишь в окне.

Если ж ты не китаец, тогда
Вместо риса свари себе щи.
Все прими, и уже никогда,
Все приняв, ни на что не ропщи.

* * *

В Божьем доме свету много —
Так и льется из окон.
И выглядывают строго
Лики старцев из икон.

Эти люди тоже жили,
Как уж выпало кому,
Но восторженно служили
Только Богу одному.

Ну, а ты-то, братец Вова,
У себя в родном краю, —
До чего же бестолково
Ты проводишь жизнь свою!

Если жил ты несерьезно -
На кого ж теперь пенять?
Спохватился вот, да поздно,
Поздно жизнь свою менять!

Хорошо быть мудрым смлада,
Над Святым Писаньем бдеть,
Чтобы после — из оклада —
На молящихся глядеть!

* * *

Все великие художники,
Нас пленяя новизной,
Освежают нас, как дожди
В нестерпимый летний зной.

Льют нам свежесть расточительно,
Словно воздух из окна.
Но мы знаем, как мучительно
Достается им она.

* * *

Коль жизнь есть вдохновенье
На подвиг, на труды,
То смерть — отдохновенье
От этой ерунды.

Окончатся мученья,
Настанет вечный лед.
Без цели и значенья
В бесплотности полет.

Прервутся жизни ноты,
Все выпадет из рук.
Закончатся работы,
Появится досуг.

С наглядностью любезной
Скрипучего мелка
Нам всем покажет бездна,
Как жизнь была мелка.

* * *

Тень скользит по занавеске,
Возникают арабески,
Словно эхо прежних дней.
Одного другой чудней
Эти дни, что прежде были
И покрылись слоем пыли.

Пыль узорную сплетя,
Занавеску золотя,
Это солнце, сбросив грезы,
Через листву сквозит березы,
Поздним вечером горя.

Откровенно говоря,
Не утешит солнце красно
Жизнь, прожитую напрасно.

* * *

От судорог жизни, от страхов ее
Убежище — в местной больнице.
Здесь бедные люди находят свое
(Богатые — прячутся в Ницце).

В уютных палатах царит тишина
И бедность тут глаза не режет.
Там, в уличном мире бушует она!
Там страшный стоит ее скрежет!

* * *

Я поэт какого толка?
Бессловесная овца,
Я живу в зубах у волка,
Волка — красного словца.
Я не первый, кто напасти
Этой прелесть испытал.
Трепыхались в этой пасти
Кое-кто — не мне чета.
Да, не кто-нибудь, а Пушкин
Первой жертвой волка стал.
Он палил в него из пушки,
Ну, а волк его терзал.
Стыла кровь от волчьих рыков
И текла струей густой —
Ваша, Тютчев и Языков,
Ваша, граф А.К. Толстой!
Как простая волку пища,
Рад был Лермонтов пропасть.
И Некрасова кровища
Обагрила ту же пасть.
Гумилев и Северянин
Испытали то же зло.
И Сергей Есенин ранен
Был им очень тяжело.
И Рубцова всласть язвили
Кровожадные клыки...
Поэтические были
Наши жертвы велики.
Но теперь ослабла хватка.
Бедный волк уж полумертв
От поста, от недостатка
Добровольных новых жертв.
Полысел, заметно слепнет
И все зубы износил.
И меня лишь слабо треплет
Из последних волчьих сил.

* * *

Природа родины! Лишь ты,
Не оскверненная корыстью,
Приметы чистой красоты
Способна принимать под кистью.

Забор какой-нибудь, мосток
Полуразрушенный, болотце —
Способны привести в восторг...
И сердце радостно забьется!

ОСИННИК

Уже осинники голы...
Идя, задумавшись, по лесу,
Я вдруг увидел сквозь стволы
Пожара красную завесу.

На миг всего!.. И так же вдруг
Я весь расцвел, как именинник.
Сменился радостью испуг:
Горит оранжевым — осинник!

* * *

Печалью сквозною
Пропитана тишь.
По полдню, по зною
Уже не грустишь.

Осеннее благо —
Где лента ручья.
И песня, и влага —
Чужая, ничья.

* * *

И в колокол бить я залезу,
И ангелов пусть голоса
Все слышат! Нужны дозарезу
Церковные нам чудеса!

Пускай мирроточат иконы,
Находятся мощи святых,
Пусть Бог отзовется на стоны
Горбатых, хромых и слепых!

И пусть их попы исцеляют,
Чтоб ширилась веры река!
Я знаю: чем больше валяют
Такого они дурака,

Тем лучше для правды и света, —
Ведь если все вымыслы счесть,
Так, может, и выйдет, что эта
Одна только правда и есть!

* * *

Обширным мирозданьем
Поставлен мне предел:
Я занят созерцаньем
Лишь двух небесных тел.
Уже закат бледнее,
Ползет на землю мгла.
Становятся виднее
Небесные тела.

* * *

Ты когда-то была молодой,
С ветром схожа и с вешней водой.
И катился счастливый твой смех,
На пути не встречая помех.

Но с тех пор пролетели года,
Как гроза, как большая вода.
И остался лишь след на песке,
Да цветок, что ты держишь в руке.

* * *

Наличников некрашенных
Сквозь сад видна резьба.
Стоит сироткой серою
Верушкина изба.

Листву с кустов заброшенных
Холодный ветер снес.
Нейдет Верушка по воду,
Не лает черный пес.

* * *

В ночь февральскую сонно и глухо
Я на ложе скукожился ниц.
Чу! Вливается в сонное ухо
Свист мышей...Или посвист синиц?

Или ветра промозглые враки
Так свирепствуют в нашем краю?
Все стихии сошлись в этом мраке
Мучить бедную душу мою.

Изнывает душа на беспуты,
Вдаль на ощупь бредет по пути.
И не чаёт уж выбиться в люди,
Хочет только подольше брести.

Шлет на небо молитвы глухие,
Чтоб позволено было успеть
Ей в сорвавшейся с цепи стихии
Свою тихую песенку спеть.

КОМПЛИМЕНТ РЫЖЕЙ ЖЕНЩИНЕ

От этих дождей весь свет раскис.
И я в тоске зачах.
Но вот вы взошли — и сырые носки
Мы сушим в ваших лучах.

* * *

Сайге-хоси, бродячий монах,
Не последний поэт в нашем стане,
Жил, наверное, в синих штанах
И в какой-то японской сутане.

Вот бредет он, заброшен и сир,
То глубинкой, а то побережьем,
И ему открывается мир
Поразительно ярким и свежим!

Как Россию Господь, исходил
Всю Японью свою этот инок
И в стихах своих предвосхитил
Появление японских картинок.

Мы теперь вспоминаем о нем
По утрам, наряду с Хокусаем,
Когда чай по-японски мы пьем
И японскую булку кусаем.

* * *

Мы лодку взяли напрокат
(Недорого втроем)
И, прицепив к корме канат,
Спустили в водоем.

За весла сев без дураков,
Мы весело пошли
Туда, где лодки рыбаков
Маячили вдали.

Хороший лов и легкий бриз
Вознаградил труды,
И выплывали лодки близ
Дельфины из воды.

Но в этот раз не удалась
Рыбалка нам сполна —
На море скоро поднялась
Опасная волна.

И мы поспешно шли назад
По зыби с полчаса,
Туда бросая вздох и взгляд,
Где лов не удался.

* * *

Ветер, ветер! Ну и что,
Близок мне осенний ветер.
Он как будто все на свете
Продувает в решето.

В души, в ставни, просто в щели
В беззаконной карусели
Рвется ветра кутерьма;
Как картонные, присели
Наклоненные дома.

Солнце блещет в небесах,
Застревает в волосах,
Обольщая, как никто,
Гладит девушкам пальто.

Осень бурная, сухая.
Рвется с сучьев, полыхая,
Бесшабашный красный звон.
Мчится ветер со всех сторон,
Мир закисший протряхая.

* * *

Садится в тучку розовое солнце
Над белой заснеженной степью.
За серую кайму до половины
Упрятался уже румяный диск.
Не светит, не горит, но так красив,
И быстро-быстро облаком закрылся.
Все стало бледным. Розовые тени
Потухли. Над каймою облаков,
Что протянулись легкой длинной лентой
Над степью, тихо вылился закат.
Неяркий, блеклый. Голубое небо
Так мягко, что едва-едва заметно
Желтеет; а над самым горизонтом —
Глухая красноватая полоска,
Прощальный луч погасшего светила.
Вот желтизну заката, точно перья,
Пересекают ровными рядами
Посланцы приближающейся ночи,
Легки, как дым, изменчивы, как дым.
И узкий-узкий светлый серп луны,
Который, видно, только родился,
Меж ними потерялся, как ребенок.
Степь беспредельна. Краски меркнут, меркнут;
И убегает длинная дорога
По снегу, по степи, туда, где солнце
Свой нежный лик доверило покою,
И быстро тонут в светлом мраке ночи
Две дружные, как сестры, колеи.

МИШЕ НИКОЛАЕВУ

Роща ежится сквозная,
И последние листы,
С шелестеньем облетая,
Поздним солнцем облиты.
Все гуляют. Только ты,
Разрумянясь у плиты,
Позабыв надеть штаны,
Постным маслом обливаешь,
С аппетитом уплетаешь
Подгорелые блины.

СОНЕТЫ ВЕЩАМ

1.

Ну, есть ли что прекрасней, в самом деле,
Забора покосившегося! досок!
Потрескались они, прибиты косо,
От времени и ветра поседали.
Их треплет вьюга в зимние недели,
Обнюхивает каждый нищий пес их,
Порывшись в тут же сваленных отбросах;
За зиму доски сильно поредели.
А нынче солнце с самого востока
Теплом весны дохнуло чуть заметно —
На снег упали голубые тени.
И ожила ограда огорода,
И розовые доски шлют привет нам
Тепла земного, солнечных сплетений.

2.

На кухне копоть. Мощные котлы,
Пуская пар, ворчат; блестящим брюхом
Глаз радуя; шипеньем нежным — ухо.
Лоснятся жиром скользкие полы.
Краснеют кровью белые столы,
Забрызганы прилипшим желтым пухом.
Приелось мясо грязным жирным мухам,
Сидят на сводах, медленны и злы.
В больших шкафах — кастрюли и ножи.
Направо дверь — гремит посудомойка,
И грязная вода рекой бежит,
И вентилятор в бешенстве дрожит.
Окно во двор — в него видна помойка,
Заборы, грязный снег, — и ни души.

* * *

Красота! На воле —
Дикий гололед!
Как солома в поле,
Валится народ.

Травмы, травмы, травмы...
Прямо, под углом...
Все в паденье равны:
Вывих! Перелом!

* * *

Милая, тоску мою
Ты делить не стала бы.
О тебе я думаю
С нежностью, без жалобы.

Ты живешь размеренно,
Ты — в надежной пристани.
Где ж мне взять уверенность
В жизни, в счастье, в истине?

ПОЭЗИЯ



Александр Кочкин

*Не суетись,
не лебези*

* * *

Высок Парнас!
Лишь только конь крылатый
Вознест к вершине может седока.
Кто мчится там с тетрадкой измятой?
Да как бесстрашно – шпоры под бока!

Леса, и реки, и приволье пашен –
Внизу, под ним... Огонь в его груди.
Да кто же он?
Есенин? Или Яшин?
Или Твардовский?
Имя – впереди.

Пока никто. Еще не член Союза,
Еще не оторвался от села.
Но почему застенчивая Муза
К нему прильнув, безгрешно обняла?

Они вдвоем. Покорны им высоты.
Сквозь ночь несутся, не смыкая глаз.
Внизу плодят уродцев стихопле ты
И их седлают...

Но высок Парнас.

Александр Сергеевич Кочкин родился в 1929 году в деревне Лешкино Пошехонского района Ярославской области. Окончил семь классов школы рабочей молодежи, а затем Тихменевский лесной техникум. С подросткового возраста сотрудничал с районной прессой, с 1970 года до выхода на пенсию (и еще пять лет после этого) работал собственным корреспондентом ярославской областной газеты «Северный рабочий».

Газетные статьи автора часто перерастали в полноценные публицистические материалы, публиковавшиеся в общесоюзной журнальной периодике. Очерк «Узоры льна», опубликованный в журнале «Наш современник», получил обширную почту, обсуждался среди льноводов. Шли отклики и на очерк «Суть крестьянская», опубликованный в журнале «Волга». Публицистика А.Кочкина приходила к читателю со страниц многих других журналов, коллективных сборников и альманахов, выходила в свет отдельными изданиями.

Автор нескольких поэтических сборников — «Кештомские строки», «Поляны», «Ветка рябины», «Русь моя - боль моя» и других.

Живет в Рыбинске.

* * *

Клонится дорога
У речной косы.
Возле перелога
Плещутся овсы.
В травяном разливе,
Где березы в ряд,
Кони – грива к гриве –
На лугу стоят.
Тополь с косогора
Ветви распростер.
 Попрошу шофера:
– Приглуши мотор! –
Расстегну рубашку,
Брошусь в зеленя –
И прибой ромашки
Захлестнет меня...

ОЗОРНИК

На всем скаку остановил коня
И с ходу – в клевер!
Взворохнулось сено.
Хитрец, он видел, как из-за плетня
Глядит, платочек комкая, Елена.
По ветру – косы! Все – как будто сон...
Припала: жив! Слезинка – на ресницу.
И тут случилось: не сдержался он,
Поцеловал, переступил границу.
Пощечина!
Шепнул: «Прости меня!»
О, как пунцово щеки ее рдели!
А он жалел, что не упал с коня
И не разбился вдруг на самом деле.

НИКОЛАЙ ЯКУШЕВ

Зачем ему жить притворно?
Поэт же он!.. Без обмана!
Но держат его упорно
За пьющего графомана.

Повсюду – сплошные путы.
Порвет ли? Пропала вера.
Усердствуют лилипуты,
Связавшие Гулливера...

1978

СВЕТ

Чурка на расщепку,
Самовар в углу.
Тесто, скинув кепку,
Ходит по столу.
Солнце бьет в окошко,
Прострелив кусты.
На полу – дорожка
Тканой красоты.
Рыжий кот с лежанки
Прыгает легко,
Мать на кухне в банки
Цедит молоко.
Как все это зримо
Через толщу лет...
Свет неугасимый,
Неизбывный свет!

ПРОДАННЫЙ ПЕС

К магазину, что стоит на взгорье,
Взвихрив снег, подъехал самосвал.
Пегий пес в подвыпившем шофере
Старого хозяина признал.
И когда, шатаясь, шел к прилавку
Тот шофер,
И водку брал,
И пил,
Пес, ласкаясь, как-то нежно гавкал
И тихонько, жалобно скулил.
А шофер тюленем влез в кабину,
Дожевал, рукою рот обтер,
Кинул псу краюхи половину,
Хлопнул дверцей и нажал стартер.
Самосвал, как зверь железный, рыкнул
И понесся с ветром вперед.
Пегий пес испуганно отпрыгнул,
Но не думал расставаться он.
Колеей, пробитой задним скатом,
Он катился, высунув язык.
И, конечно, не был он крылатым,
Как нам всем казалось в этот миг.
А потом, обманутый, устало
В снег свалился, выбившись из сил.
Разве знал он, что хозяин старый
Его продал,
Пропил,
Позабыл...

ДЕДОВА НАУКА

Умел мой дед сноровисто, толково
Под шаткой крышей ветхого гумна
Отвеять пыль и щуплую полову
От крупного, здорового зерна.
Он становился к вороху привычно
И, обнажая руки до локтей,
Лопату брал. И дождь плясал пшеничный
Вокруг его истоптанных лаптей.
Под вечер ворох подымался круто,
И празднично всем было на току...

Я вспоминаю деда в ту минуту,
Когда ищу весомую строку.

РАЙ

Что значит рай?
Калач на блюде?
Изюм, набросанный в кутю?
Ну, как не понимают люди,
Что испокон живут в раю!

Мы глупо тешимся от века
Какой-то странною игрой.
Ужель не рай для человека –
Земля?..

Да только обустрой!

ЖДИ РЕДАКТОРА

Что за унылость, сочинитель?
Пускай плохие времена,
Пускай единственный ценитель
Твоих стихов – твоя жена,
Пускай печать отвергла снова –
Не жги черновиков завал.
Нет, жди редактора такого,
Чтоб был неглуп. И понимал.
Но шею не клони под гнетом,
Не суетись, не лебези.
Ему ж награда, коль найдет он
Талант, затоптанный в грязи!

* * *

Русь! И больно тебе, и тревожно:
Всюду хищники лезут в закут...
Целиком заглотить невозможно –
По куску отрываючи, жрут.

ПОЭЗИЯ



Ирина Казак

*Я жду тебя
на той же
остановке*

* * *

Откуда вы, девчонки на панели?
Вас не любили мамки с колыбели!
В судьбе прошедшей – боль и наказание,
А в нынешней? Надежда на вниманье!

С надеждой раскрываете объятия,
Чтоб обманувшим их послать проклятья,
Чтоб доказать своей нечуткой мамке –
Вот я! Любима! Хоть и на стоянке!

* * *

Отворачиваю плечи,
Опускаю вниз ресницы.
Может, станет чуть полегче,
Если ты не будешь сниться?
Изогну в усмешке губы,
А слова наполню ядом.
Поступил со мной ты грубо...
Ты считаешь, так и надо?

Ирина Борисовна Казак родилась в 1967 году в Молдавии, в г. Тирасполе, где закончила среднюю школу и работала слесарем-сборщиком на электроаппаратном заводе. В 1986 году поступила на факультет психологии Ярославского Государственного университета, который и закончила в 1992 году. Работала психологом в детском саду и детско-юношеском центре, секретарем комиссии по делам несовершеннолетних, педагогом-психологом в учебном учреждении.

Стихи начала писать два года тому назад. В 2004 году в Ярославле вышла в свет ее первая поэтическая книжка «Жемчужина». Предлагаемая читателю подборка стихотворений – первая публикация И. Казак в периодической печати.

Живет в Ярославле.

* * *

Я жду тебя на той же остановке,
Где были мы разлучены судьбой,
Где на подножку заскочил ты ловко,
В окне увидев силуэт другой.

Я жду тебя все там же терпеливо
И в проходящий транспорт не сажусь.
Мне показалось, крикнул торопливо
Ты на ходу: «Дождись, еще вернусь!»

Я жду тебя. Ты можешь мне поверить:
Я до сих пор живу мечтой о том,
Что в сумерках вновь откроются двери
И с остановки той уедем мы вдвоем.

* * *

Жду звонка весь день и вечер.
Нет... Ну что ж, укрою плечи
Теплым маминым платком,
Выпью меда с молоком,
Лягу на диван большой
И прижмусь к тебе. Душой.

* * *

Нетвердый шаг, морщинистые руки...
За что, красавицы, теперь такие муки?
Вы не ходили по земле – порхали,
Кружили головы, волшебнo танцевали.

Вы, привлекая общее вниманье,
Бесстыдно раздавали обещанья,
Цвели, мечтали, о своем вздыхали,
Духами, модными тогда, благоухали.

Вам нравилось блистать умом, улыбкой,
Быть чьим-то наказанием, ошибкой,
Капризом, неразгаданной загадкой,
На комплименты и подарки падкой.

И вот финал. И вы у переправы.
Вы ошибались? Или были правы?

ОДНОСТИШИЯ

* * *

Я своим глазам не верю
И твоим словам.
Ты не «старый сивый мерин»,
А почти Ван Дамм!

* * *

Книжка ваших стихов
Слишком поздно попала мне в руки...
Хуже сотни врагов
Глупой ревности мерзкие муки!

* * *

Простите за немой вопрос,
За суету, что утомляла...
Но если б у меня был хвост,
При виде вас я б им виляла.

* * *

Что-то принцы надоели...
Не видать ли где Емели?

* * *

Спрятана у каждого в душе
Творчества жемчужина живая.
Я ее нашла в себе уже
И теперь тихонько согреваю.

* * *

Что скажет критика, мне, право, интересно.
Возможно, отзыв прозвучит нелестно...
Одно скажу я абсолютно честно:
В обложке жить невыносимо тесно!

* * *

Я поднималась выше, выше,
Когда закрылись ваши двери.
И вот уже стою на крыше,
В себя и в Бога только веря.

Здесь – небо, солнце, ветер, птицы.
Вот облако летит навстречу,
Моя душа к нему стремится...
Взлечу и я, расправив плечи.

Земных законов не приемлю!
Давно бы стала звездной пылью,
Но сын зовет меня на землю...
Спускаюсь. Складываю крылья.